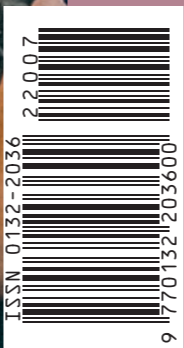


ЯНА
ЯЖМИНА,
СТР. 20



ЮНОСТЬ



ISSN 0132-2036

22007

№7/2022

16+

7



МАРИЯ
ВИШИНА,
СТР. 30



АНДРЕЙ
НИКОНОВ,
СТР. 57

podpiska.ru

ЮНОСТЬ



УЧРЕДИТЕЛЬ:
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

«ЮНОСТЬ» —
зарегистрированный
товарный знак.
Правообладатель —
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Сергей Александрович
Шаргунов

Выпуск издания
осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям

Лиц. Минпечати №112.
ISSN 0132-2036

Наша почта:
unost-org@mail.ru

Наш сайт:
unost.org
юность.рф

Мы в социальных сетях:
https://vk.com/unost_journal

Адрес редакции:
125047, Москвa,
ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1

Для почтовых отправлений:
125047, Москвa,
а/я 182, «Юность»

Тел.: +7 (499) 251-31-22,
+7 (499) 250-40-74

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:
Дмитрий Бан
Павел Басинский
Зоя Богуславская
Алексей Варламов
Евгений Водолазкин
Елена Исаева
Владимир Ностров
Юрий Полянов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Шаргунов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Татьяна Соловьева

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Вячеслав Коновалов

РАБОТНИКИ РЕДАКЦИИ
Яна Нухлиева
Настасья Попова

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР
Юлия Сысоева
РАЗРАБОТКА МАНЕТА
Наталья Агапова
ВЕРСТКА
Наталья Горяченнова
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Людмила Литвинова

Подписные индексы:
каталог «Почта России» —
П1972,
объединенный каталог
«Пресса России» — 71120

Редакция не имеет
возможности вести
переписку с авторами.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы несут
ответственность
за достоверность
предоставленных
материалов.
Мнения автора
и редакции могут
не совпадать.
При перепечатке
материалов ссылка
на журнал «Юность»
обязательна

Отпечатано
в ООО «Типография
«Миттель пресс»

Москва,
ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./фанс:
+7 (495) 619-08-30,
+7 (495) 647-01-89
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3500 экз.
Формат: 60×84/8
Заназ №

«ЮНОСТЬ»
© С. Красауснас. 1962 г.

На 1-й странице обложки
рисунок
Настасьи Поповой
«Ожидание»

ПОЭЗИЯ

6 ИРИНА КРУПИНА

20 ЯНА ЯЖМИНА

ПРОЗА

24 ЛЕОНИД ИЛЬЧЕВ
ПО МАРШРУТУ ВОСЬМЕРКИ

30 МАРИЯ ВИШИНА
НА ДВА ГОЛОСА

57 АНДРЕЙ НИКОНОВ
ЛЕТОПИСЕЦ

ЗОИЛ

64 ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ НОН-ФИКШЕН
НОВИНКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

85 ДЕНИС ЛУНЬЯНОВ
КОРОЛЕВЫ, МЕЧТАТЕЛИ И ВОЛЧИЦЫ

БЫЛОЕ И ДУМЫ

92 ЕЛЕНА ЛЕВИНА
«ВМЕСТО ПЕЧНИ...»

«ФИЛАТОВ ФЕСТ»

98 ВЛАД МАЛЕНКО
«ФИЛАТОВ ФЕСТ» КАК ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

100 ВЛАД МАЛЕНКО

101 АЛЕКСЕЙ ШМЕЛЕВ

104 АННА ДОЛГАРЕВА

105 ДМИТРИЙ ПОПАЗОВ

105 ЕВГЕНИЙ ДЬЯКОНОВ

107 КОНСТАНТИН КОМАРОВ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

110 ЕГОР АППОЛОНОВ
СЕРГЕЙ КУБРИН: «МЫ ПИШЕМ НЕ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ПОМНИТЬ, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАБЫТЬ»

podpiska.pochta.ru

ПОЭЗИЯ

podpiska.pochta.ru



ИРИНА НРУПИНА

Родилась в 2001 году в Харькове. До поступления в МГУ имени М.В. Ломоносова жила в Феодосии. Социолог. Учится в Высшей школе современных социальных наук. Студентка Дмитрия Воденникова. Пишет стихи и прозу.

Специальный приз журнала «Юность»
премии «Лицей имени А. Пушкина»

МОИ БЕДНЫЕ, БЕДНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

* * *

ты приходишь раздетым
плачешь и говоришь
вот я весь какой есть
весь каким ты меня создал
я весь тебе
я признаю это

дай мне немножко времени
побыть с моей рассыпающейся мамой
я сделаю все что должен
сжался над тем кто живет здесь вместо меня
и кто умрет в отличие от меня

и он отвечает говорю я ты же знаешь что это запрещенный ход
ты же все знаешь
вернись к маминой постели
и успокойся
никаких желаний не существует
если мы чего-то хотим значит
мы предвидим

и я возвращаюсь к маминой постели
постель заправлена белым пледом
мама танцует на белом пледе
под музыку отчима
на линолеуме лежит марсик
на подоконнике стоит денежное дерево
с лампы свисает елочная игрушка

а я стою и приплясываю как будто бы
ничего
совершенно ничего
после –

не было.

* * *

[твое фарфоровое личико]

я рисую тебя и мне становится страшно
потому что ты до сих пор есть
ты есть в каждом тюбике краски
в каждом волоске кисти
я иду менять воду
в раковине остаются разводы
это ты, и ты не смываешься

Все эти годы мне хотелось рассказать тебе, как далеко я ушла. Сколько
я прочитала книг и сколько умных мужчин приглашали меня на свидания.
Я до сих пор не знаю, за что тебя можно зацепить.

я очищаю банан
ты смотришь на меня
недорисованная и может быть
я никогда тебя не дорисую

За эти годы у меня были женщины, у меня были мужчины, у меня были деньги.

ты говорила мама никогда не вылечится
и я никогда не вылечусь
или мне придется стать сверхчеловеком

А я не помню даже нашу последнюю встречу. Я помню, как я пришла к тебе
на прием, а тебя не было. И я шла по набережной, я плакала и старалась идти
медленнее. Мне хотелось выкрасть тебя из этого мира, хотя твой мир, ваш
мир, никогда не был мне доступен.

я ничего не выбирала
я не выбирала даже тебя
мне всегда хотелось просто внимания
(всего лишь: внимания)

И все эти годы я о тебе даже не вспоминала. Я не помнила, как ты выглядела,
я помнила только твои короткие пальцы. И если бы не эта фотография (новая
клиника, знакомство с главврачом), я бы жила и дальше.

ты сидишь передо мной
и как тогда в мои самые счастливые пятнадцать лет
я хочу обнять твои ноги
надеясь что ты наконец отправишь меня к себе
надеясь что хотя бы один раз
ты проведешь свой обход и спросишь меня
как я сегодня чувствую себя
(всего лишь: как я себя чувствую)



я глазу твои темно-серые волосы
мне не хватило на них белой краски
я смотрю в твои пока еще пустые очки
я вижу твои розовые руки

но даже сейчас
(а сейчас я бы точно не обнимала твои ноги)
рука с обручальным кольцом
лежит на компьютерной мышке
я смотрю на нее и не верю: мне можно
делать это сколько угодно (и делать – что угодно)
я замечаю что стучат мои зубы
и я [у меня взрослая счастливая жизнь]
начинаю визжать.

И чтобы по-настоящему стать создателем, ты должен признать, что твоей мамы, которую ты искал всю свою жизнь, никогда не существовало. У создателя не может быть мамы. Мне жаль, но он не создан для того, чтобы иметь маму.

* * *

я кошечка
мяу мяу мяу
да да
я чудовище мама
я тебя сожру потому что я тебя ненавижу

эти приступы начались когда мама переехала к нам
до этого были приступы другого свойства
мне было больно и я заходилась
плакала конечно вслух а потом не могла остановиться
задышалась кашляла и продолжала плакать
я не могла просто начать дышать

сначала мне помогала валерьянка
когда она заканчивалась бабушка давала свой корвалол
и обливала лицо холодной водой

потом мне мало что помогало
даже кровь перестала останавливаться
бабушке было очень страшно а я не верила что это отражение в зеркале это я

я вообще никогда не чувствовала себя как

может быть я не смогу написать хороший текст но мне никогда не давали
просто высказаться без хорошего текста
так было со школы
хочешь поговорить вот пожалуйста
конкурс сочинений на тему
я даже на экзамене выбрала вместо аудирования сочинение
мне все говорили что это сложнее что нельзя

наверное тогда и появились эти кошачьи приступы
перед поступлением я подходила к маме и говорила
что у меня к ней серьезный разговор
я хотела поговорить про мою будущую жизнь

мне всегда казалось что я сама их контролирую
просто играюсь
когда мяукаю рычу ору кусаю себя
но потом я начала замечать что мне очень сложно успокаиваться
и после того как я перестаю мяукать я начинаю сильно плакать

когда после мяуканья и рычания я плачу
я думаю что ко мне относятся как к человеку
а я не человек
я дрожащий сосуд
пульсирующая венка
листик с росой
даже не кошка

когда я начинала трястись с огромной частотой (то есть очень быстро)
сначала она говорила что я сумасшедшая
потом она просила перестать
потом она отворачивалась
потом она начинала на меня смотреть очень испуганными глазами
ее испуганные глаза как сумасшедшие
нечеловеческие

и я понимала что она начинает бояться что я действительно ненормальная
и старалась успокаиваться
к тому же я уставала трястись

как-то когда приступ только начинался я сказала маме
что она глупая потому что не восхищается тем что я у нее человек
(еще и здоровый)
а могла бы родиться наполовину кошкой
и спросила: а что бы ты тогда делала

кошку я бы выбросила или отрезала
а тебя оставила

когда я сижу со своим человеком и он начинает выяснять отношения
я думаю ха ха ты глупый человек
я тебя обманула потому что я просто исследователь у меня включенное
наблюдение эксперимент а ты всерьез раздражаешься мне же все равно

так же случается когда кто-то говорит плохо о детях или подростках
я думаю говорите глупые говорите а я же этот самый ребенок и подросток
и вы меня любите

не знаю сколько же мне нужно говорить
чтобы я смогла все рассказать и высказать
(а это разные вещи)
иногда мне кажется что после смерти
если вдруг есть бог
я подлечу к нему и перед объявлением приговора начну рассказывать
что со мной происходило все это время
и даже бог не сможет меня слушать
ничего со мной сделать не сможет
отправит меня обратно
в какую-нибудь новую жизнь

обычно люди с хронической невыговоренностью не живут
с людьми которые готовы их слушать
потому что нет людей которые готовы слушать бесконечно
есть люди которые готовы выслушать

и эти люди с хронической невыговоренностью остаются такими,
и я не знаю, что с ними случается после.
может быть, они становятся кошечками.

* * *

кто многих любил у того внутри голубая воронка
кто со многими спал у того внутри черная дырка

у меня внутри ничего
давным-давно уже ничего
только маленький еле заметный кружок

как ожог от случайной сигареты
поставленный в детстве чужим прохожим
и никем не замеченный
потому что плакать было стыдно

если бы нужно было определить
подвести так называемый итог
что же все-таки в этом кружке
кто же остался
что же из всего по-настоящему задело
я бы даже не смогла все вспомнить
перечислить имена
моменты дрожания и абсолютного счастья
хотя может быть его никогда и не было

бабушка говорила что мое сердце такое же как мой кулачок
я часто рассматривала его
иногда разговаривала с ним
мне казалось что любую нашу внутренность можно изобразить на пальцах
даже мой кружок

я соединю большой палец с остальными
спрячу некрасивые ногти
сделаю себе бинокль
приеду к тебе
и буду на тебя смотреть
мою учительницу русского языка и литературы
(сколько лет прошло, боже)

ты будешь думать что у меня внутри два кружка
и вся жизнь только начинается
так всегда думали люди с которыми я была
но кружок у меня один
и жизнь уже вряд ли только начинается



* * *

[душу, счастливую жизнь, любовь – все что угодно можно отдать
за стихотворение после перерыва]

на каждый мой концерт бабушки приходили
с цветами и конфетами
садились в первый ряд

так хлопали что казалось только они так хлопают
то ли звонкий то ли глухой стук сухих ладоней
полных сил

бабушки кричали браво браво
а мне каждый раз было стыдно

у вали были усы
(и мне тоже из-за этого было стыдно)

руки бабушек не становились слабее
они исправно каждый раз покупали цветы и конфеты
после концерта водили меня в бистро «центральное»
мы заказывали пиццу «студенческую» и молочные коктейли
официантка дарила мне шарик

валя говорила а когда-нибудь ты станешь студенткой
дожить бы до этого

будешь потом вспоминать нас
как мы сидели здесь

и я даже не знаю говорили ли мы о чем-то кроме этого
телефонов не было книг я не читала

как-то на день святого николая
валя не пришла на концерт
у нее случился криз
я была не расстроена а шокирована
потому что в этот раз никто мной не восхищался
(нина была менее эмоциональной)
но потом были другие концерты
и она еще долго жила

мне всегда казалось что я не люблю их
(никого)
что я очень привязана к тому что они мной восхищаются
(меня любят)

но теперь я вспоминаю
как бесконечно много было этих концертов
этих походов в кафе
шариков всех возможных на свете цветов
одной и той же пиццы
и мне начинает казаться
что нет ни восхищения ни любви
есть оторванность вернее разорванность
и это единственное что вообще есть

* * *

я открыла новую книжку «дизайн детства»
и она пахла бабушкиным потом

я бы скупила все книжки
издательства «новое литературное обозрение»

* * *

вот мы вернулись с похорон дедушки
я думала как бы позвонить тем женщинам
которые предлагали нам помощь
попросить их
пригласить меня в гости

мама по-прежнему плакала
бабушка сидела с крестной
день заканчивался

светлана павловна тоже умерла
потом умерла светлана александровна
их похоронили в пяти могилах
друг от друга

прошло какое-то время
и я до сих пор не могу понять
почему ее смерть меня так глубоко ранит
почему я начинаю плакать
и плачу долго

когда-то я написала ее сыну
предложила ему помощь
может быть разузнать о вузах
или показать москву
или еще что-нибудь
в конце концов я могла бы
накормить его в хорошем месте

он написал что тронут
но в москву не собирается
а потом я узнала
он встречается с очень хорошей девочкой
делает фотографии читает книги
его жизнь продолжается

с какого-то момента мне начало казаться
что все эти люди перед своей смертью
приходят ко мне
забирают меня к себе в гости
долго слушают меня плачут вместе со мной
мы засыпаем

а потом что-то случается
и умирает татьяна алексеевна

все закончилось, мама,
и нам все еще нужна помощь.



* * *

человек который падает на землю
не разбивается
земля вдруг становится сырой

земля сохраняет отпечаток его страдания
и страдание становится менее
концентрированным

В семнадцатом веке ностальгия считалась болезнью, потом, ближе к двадцатому веку, веку революций и ускорения времени, о ностальгии стали говорить как о коллективной неизлечимой болезни. Это тоска по дому, которого ни у кого из нас не было. Пока мы тоскуем, мы останавливаем время и таким образом сопротивляемся своей конечности.

иногда я чувствую себя бракованной
иногда я вдруг понимаю
что даже нереализованный потенциал
не так страшен
как приступы ностальгии
которые неконтролируемо активируют
какие-то мозговые центры
и вполне себе счастливый человек
начинает думать что после например детства
его жизнь абсолютно бессмысленна
она есть обман

тот промежуток между смертью социальной
и биологической
когда ты уже умер
но тебя зачем-то держат на аппаратах
чтобы отложить похороны
окончательное прощание

Но если бы это касалось моих родных, я бы до последнего шанса держала их
на всех возможных аппаратах.

детская дурная привычка ждать
что больной ребенок не произносивший
ни слова за несколько лет своей жизни
вдруг назовет тебя по имени
а мертвый после долгого твоего взгляда
откроет глаза и встанет

литература нужна
чтобы сохранить дом каждого человека
его родину
иначе ностальгия нас всех убьет
мы будем выбрасываться из окон
и падать друг на друга
и эти горки из страдающих тел/людей
станут современной понятной нам
вавилонской башней

на протяжении
всего существования человечества
мы все
всего лишь хотим
вернуться в свой дом
в свою занебесную область
к своему господу богу

(больше всего на свете я боюсь
отключения сознания)

Иногда у меня бывают периоды большой слабости, и я возвращаюсь к людям,
которые остались еще здесь, не умерли, никуда не переехали. Это мои
школьные учителя, певчие из церковного хора, учительница воскресной
школы. Когда я возвращаюсь, я чувствую себя невидимкой. Меня перестают
замечать – так и должно быть, но человеку нельзя об этом узнавать.

а на самом деле
наверняка же
там мы никогда не встретимся
и наши расставания здесь
это последние и единственные встречи
после которых не будет ничего

И с собой я больше не встречусь, и с учительницей воскресной школы я больше не встречусь, и с моей мамой мы больше никогда не встретимся.

я никогда тебя не называла мамочкой
может быть только в самом начале

но мамочка

помнишь
я приходила к тебе ночью в слезах
будила тебя
и спрашивала не умрешь ли ты

мы никому об этом не говорили
но это продолжалось долго
даже когда я училась в университете

ты мне говорила что не умрешь
не оставишь меня одну
я заставляла тебя поклясться
и ты клялась

когда ты засыпала, я все равно плакала,
потому что ты умрешь, мамочка,
и мы с тобой больше
никогда не встретимся.

* * *

«ненавижу когда пытаются быть ближе ко мне»
в этом вся Крупина отвечает
пыхтит такая эмоциональная

никто не знает какая Крупина
она не пыхтит потому что в основном ей все равно

детство кончилось и чтобы оставить его
единственным островком любви
и нескончаемой горечи
приходится ненавидеть всех кто там не был

если бы я не любила своих бабушек
я бы убивала людей и не чувствовала ничего
может быть только жалость к себе

в детстве я обожала представлять
как запираю их всех в одном из кабинетов
заряжаю ружье
они трясутся потому что теперь их жизнь



зависит от меня
и начиная с самых незаметных
я постепенно приближаюсь к ним
Ксюше, Полине, Гале, а потом к Марго

я говорю «в детстве»
но на самом деле с тех пор ничего не изменилось
иногда я разрешаю себе представить
как нахожу их
Марго – в ростовском баре или салоне красоты
Ксюшу – в Питере, в спортзале жениха, но я бы не находила ее
Галю – в Киеве, но Галя хорошая
Полину я бы не стала убивать, а продолжила делать то, что уже делала с ней

и вот я нахожу Марго (Мар-го)
у нее другая фамилия: не потому что она вышла замуж
а потому что ее тринадцать лет
когда все были зайцевыми егоровыми майскими
не закончились

я нахожу ее и не чувствую ничего кроме
разочарования

раньше я хотела чтобы у меня появилась
настоящая мама которая бы обняла меня и забрала к себе
теперь я иду за понравившейся женщиной
начинаю дрожать и чувствую напряжение в верхней части лица
фотографирую ее не чтобы найти

чтобы дома нарисовать
(я рисую чтобы не находить)

а если она оборачивается я начинаю злиться
потому что мне от нее не нужно ничего
кроме ухода

когда на обычного человека нападает маньяк
человек не пытается понять его
он пытается спастись и убегает

я хочу чтобы меня просто оставили в покое
всего лишь: чтобы не пытались быть ближе.

podpiska.pochta.ru



* * *

По набережной
Принято гулять парами.
На этот случай
У меня есть пара
Ног.

* * *

Бархатный сезон на русском юге окончен.
Фрукты – в дефиците.
Люди – в дефиците.
Осталось одно море.

О ПТИЦАХ

Обжигает щеки леденящий ветер.
К пачкам из-под сока выстроились дети.
Помощь? Развлеченье? Главное, что будет
Птицам угощенье. Птицы – тоже люди.

Дворник, почтальоны и охранник хмурый
Кормят птиц батоном после перекура.
И никто не знает, что в ночи глубокой
Бабушка седая ходит той дорогой.

Озираясь, словно стыдно ей и страшно,
Собирает зерна в миску из-под каши.
Сварит, что досталось. На войне все средства...
Кто же знал, что старость будет хуже детства!

Всем помочь сумеем:
Голубю, синице...
А потом прозреем:
Люди тоже птицы.

ЯНА ЯНМИНА
Родилась в 1995 году.
По образованию менеджер
социально-культурной
деятельности. По образу
жизни — вожатый, репетитор,
энс-учитель в школе, энс-
воспитатель в детском саду,
52 смены в детском лагере.
Полгода сотрудник строи-
тельного магазина, консуль-
тант в отделе сантехники.
Стипендиат Министерства
культуры, победитель премии
молодых деятелей современ-
ного искусства «Таврида»
(2020), эксперт фестиваля
«Таврида-Арт» (2021), резид-
ент арт-нластера «Таврида».

ТОЧКИ

Крымское солнце целует машины в спину.
Черные точки стекла защищают от света.
Черные точки души защищают от света.
Все совершенное в зеркале заднего вида:
Ты, опоздавшее лето и солнце Крыма.

(Прим.: «ё» не проставлены специально)

ТАНЕЦ

Рабочий быт. Домашний быт.
Меня, как будто бы, знобит.
Как будто стар, как будто сед
В двадцать лет.

Дышал, дышал, не моложал.
Я рук людских немало жал.
Рвал на себе немало жил,
Но мало жил.

Я как дитя, пустой сосуд.
Я сны как молоко сосу.
В них есть и крепость, и река,
Нет языка.

Весь день к подушке «Не присло...».
Четверг, нечетное число.
И завтра снова к девяти
Идти.

podpiska.pochta.ru

ПРОЗА

podpiska.pochta.ru

ПО МАРШРУТУ ВОСЬМЕРКИ



—
ЛЕОНИД ИЛЬИЧЕВ
Литератор. Публиковался
в коллективном сборнике
«Новчег» (2019) и литера-
турных журналах.

Открытие мира

Мне три года и три дня, и это первое воспомина-
ние хранится в моей памяти до сих пор. Мы живем
с родителями, братом и домработницей на Моховой,
в коммунальной квартире. Слева дом писателя Гон-
чарова, с его тремя романами на «Ф», справа – ком-
позитора Даргомыжского, с оперой «Русалка», сза-
ди – Фонтанка и Летний сад – привычная картина
мира.

Мы с няней идем вперед, к Цирку, к улице Белин-
ского, мимо ТюЗа – бывшего Тенишевского училища
(привет Мандельштаму и Набокову). Идем рядом, но
когда у заброшенной церкви я вижу толпу, няня хва-
тает меня за руку. Высоко на доме напротив, через
улицу, большая черная тарелка радио вещает тяже-
лым голосом диктора. Оглядываюсь вокруг и вижу:
многие женщины плачут, а немногие мужчины – без
шапок. Шапку я снимать не хочу, но думаю: «Надо
заплакать на всякий случай», – и плачу. Происхо-
дит это, как я позже определяю, 6 марта 1953 года.
Умер Сталин.

Похоже, я уже знаю, от кого зависит наша жизнь,
потому что второе воспоминание такое: лето, стар-
ший на девять лет брат стоит возле газетного щита,
я – рядом. Щит большой, на нем должны уместиться
восемь полос газеты «Правда». Брат смотрит на
фотографию человека в пенсне, это Берия, большой

вождь. Третье воспоминание: мне уже ближе к четы-
рем, зима, холодно, снова чит с газетами, брат чи-
тает и говорит: «Берия расстрелян как английский
шпион», а я вспоминаю прежнюю фотографию, лицо
в пенсне, и удивляюсь: почему шпион. Я знаю про
Англию, там живет бабушкина сестра.

Потом – провал в воспоминаниях, после пяти
я помню, как мне кажется, все. Ну, если не все, то
многое, и многое же понимаю. Не понимаю только
тех взрослых, которые сюсюкают со мной и разго-
варивают, как с маленьким, но я делаю вид, что мне
это безразлично.

Картина мира проявляется, как переводная кар-
тинка. Со смерти тирана начинается моя осмылен-
ная жизнь. Мне повезло, это случилось в моем бес-
сознательном детстве. Наше поколение все же не
знало такого всепожирающего страха, как те, кто
помнил его живым.

Раскинулось море широко...

Мне шесть с половиной лет, и родители надумали
отдать меня в музыкальную школу.

Петь я давно учусь у домработницы Шуры. Помню,
как она ставит на дощатый пол нашей коммунальной
кухни скамеечку – это для меня, а сама садится
на табуретку, в ногах у нее помойное ведро, рядом
на полу – эмалированная миска. Шура берет в одну

руку картофелину, в другую – нож, начинает чистить и поет:

*Каким ты был, таким ты и остался,
Орел степной, казак лихой!*

Я слушаю и зачарованно смотрю, как вьется под ее ножом непрерывная спираль кожуры, чтобы потом упасть в ведро. Очищенную картофелину она бросает в миску. Потом мы вместе варим суп.

Шура живет с нами и спит на раскладушке возле камина, который занимает целый угол комнаты. Скоро она выйдет замуж за моряка по фамилии Цыганов и уйдет от нас. Шура родом из вологодской деревни, неграмотная, поэтому письма на адрес китобойной флотилии «Слава» пишет мой старший брат. Он же читает письма Шуре от Цыганова. Мы впятером плюс виртуальный китобой живем в одной комнате.

На каминной полке стоит радио, оно работает весь день и часто «исполняет песни советских композиторов». А еще у нас пластинки. Иногда, когда старший брат приходит из школы и в настроении, мне удается уговорить его завести патефон. Брат меняет иголку звукоснимателя, крутит ручку патефона и ставит «Раскинулось море широко». Поет Леонид Утесов. Эту песню я знаю наизусть и часто гастролирую с ней по большой прихожей и длинному коридору, а иногда даю сольные концерты на кухне перед соседками, моими невольными слушательницами. Одна из них, Анна Архиповна, всегда хвалит меня, сравнивая, как я понимаю, с птичкой: – Хорошо поешь, где-то съедешь...

Еще в моем репертуаре:

*Летят перелетные птицы в осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой.*

Родители решают отдать меня в музыкальную школу, особенно хочет этого мама: она умеет играть «Музыкальный момент» Шуберта и играет его везде, где встретит пианино. Папу она посылает записать меня на прослушивание.

На приемный экзамен мы идем все втроем. Это недалеко: надо пройти по Пестеля, в сторону большой церкви. Потом дойти до Литейного, где гастроном, вход с угла – там прямо напротив входа мороженое и соки из стеклянных конусов, а стаканы переворачивают и моют фонтанчиком. А вообще там продают все: от хлеба до вина и папирос.

Литейный мы переходим и идем к церкви, но не доходим, а огибаем большой дом. (Церковь со временем окажется Преображенским собором, большой дом – домом Мурузи, где раньше жили Блок, Гиппи-

ус и Мережковский, а тогда – шестнадцатилетний Иосиф Бродский.) Проходим позади этого дома весь квартал и еще один.

В вестибюле полумрак, толпа детей и взрослых. Долго ждем, наконец меня выкликают, собирают пятерку детей и куда-то ведут. Поднимаемся по лестнице, плутаем по коридорам, снова идем по лестнице и оказываемся возле класса. Вызывают по одному.

Когда доходит очередь до меня, я подхожу к черному роялю и, как велят, встаю спиной к учительнице, что сидит за клавиатурой, и лицом к двум другим. Она нажимает клавишу и велит мне найти ту, на которую она нажимала, – из трех соседних, белых. Первая – не та, я слышу, вторая – не та, третья – та. Потом простукиваю ритм, который мне ладонями выстукивает учительница, и на предложение спеть что-нибудь громко затягиваю:

*Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали,
Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли.*

Это грустная песня. Кончается все печально, когечгар от непосильной работы умирает после вахты прямо на палубе:

*А волны бегут от винта за кормой, и след их
вдали пропадает.*

Мне дают допеть до конца и спрашивают:

– А что ты еще знаешь?

Я называю.

– У, какой серьезный артист, – говорит единственный мужчина-преподаватель. – Можешь идти, молодец.

Через неделю мы с папой находим меня в списке к зачислению. Нужно прийти осенью с документами.

Осенью происходит скандал: по документам выясняется, что мне нет семи лет, и меня выгоняют. На маму кричат:

– Вы нас обманули! Вы отняли место у другого ребенка!

Сказать, что я тогда расстроился, было бы неверно, но избежать обучения музыке не удалось: за Нарвской заставой открывалось новое учебное заведение, и меня взяли туда. Ну, конечно же, на скрипку. Ехать удобно: восьмерка троллейбус идет прямо до места.

И только когда сейчас говорят об Иосифе Бродском, я, бывает, представляю, как меня взяли в ту музыкальную школу, и я каждый день хожу мимо его парадного, под его балконом. Мы встречаемся по дороге или в гастрономе напротив: я, шестилетний, зашел туда купить эскимо, а он, шестнадцатилет-

ний, – за папиросами для матери. Или я, десятилетний, – выпить газировки с сиропом, а он, двадцатилетний, – купить бутылку вина. Он, конечно, никогда меня не замечает, зато я смотрю на рыжего парня и, хотя не догадываюсь, кем он станет, но запоминаю, чтобы вспомнить через тридцать лет и помнить всю оставшуюся жизнь.

Мы переезжаем

Мне двенадцать лет. Наша семья живет в тридцатиметровой, с камином, двумя окнами и высокими потолками комнате. Коммунальная квартира не очень большая, всего четыре семьи, многие живут хуже. Мой друг Вовка Жуков вообще живет в подвале, прямо под нами.

Я помню, как меня радовало, что все так замечательно устроено: школа в соседнем доме, до Цирка на Фонтанке рукой подать, рядом Летний сад, до музыкальной школы за Нарвской заставой меня возит восьмерка.

А родителям коммуналка не нравилась, особенно маме, хотя она вслух этого никогда не выражала – только мимикой и многозначительными взглядами, но я знал, что вырваться из коммуналки было их мечтой.

Наконец папе за его заслуги выделяют от Кировского завода отдельную двухкомнатную квартиру, прямо возле работы. В воскресенье мы едем на смотрины.

Солнечный полдень, в метро народу немного, поезд идет двенадцать с половиной минут – такая игра, засекаешь по часам на платформах. Эскалатор длинный, считаю: тринадцать светильников. Выходим из вестибюля станции «Кировский завод». С высокой площадки, как с вершины холма, озираюсь по сторонам. Домов нет, напротив высокий каменный забор, вдаль – заводские корпуса. Тянет гарью.

- Что это за запах? – кричит мама, стараясь перекричать оглушающий шум.
- Мартены чистят, наверное! – кричит папа в ответ.
- Нашли время!
- А когда же еще? В выходной никто за руку не схватит, народный контроль гуляет. А вот почему так ревет – не знаю!
- Я знаю, – кричит мама. – ТЭЦ-14 лишний пар сбрасывает, клапана сработали. Мы проектировали.
- Удачно получилось, – вполголоса комментирует папа.

Идем по азимуту, шум нарастает. Входим под арку семиэтажного сталинского дома, в нем живет

папин директор. Наша новенькая пятиэтажка – во дворе, из-за дома видна огромная труба, и клубы пара – источник шума. Квартира на третьем этаже. Входим – и тут уж мама начинает рыдать: жилая площадь меньше, чем наша комната, потолки низкие.

- Вдруг шум прекращается, наступает тишина.
- Зато отдельная, – тихо говорит папа и смотрит на оседающее облако пара за окном.

День, когда я вырос

В 1962 году из центра Ленинграда, района, где улицы назывались знакомыми не понаслышке именами писателей: Некрасова, Жуковского, Белинского, – мы переехали на рабочую окраину, за Нарвскую «фабричную заставу, где закаты в дыму». Переезд считался большой удачей, потому что – из комнаты в коммуналке в пустую и малогабаритную, но отдельную квартиру.

Топонимика на рабочей окраине была иная: проспект Стачек, улица Васи Алексеева, – заводской рабочий, погиб в боях; улица Якубениса – пулеметчик, тоже погиб в революцию и похоронен рядом, на Красненьком кладбище. Потом улицу с этим Якубенисом переименовали в Краснопутиловскую в честь Кировского – Путиловского завода. Был еще ДК имени И.И.Газа, он возглавлял профсоюз официантов и погиб молодым в боях против Юденича. Мы с Сергеем, моим другом по музыкалке, тихонько посмеивались: халдей (официант на музыкантском жаргоне) рулит культурой.

Три громоздких сталинской архитектуры дома своими дугами окружали Комсомольскую площадь. Сергей жил в одном из них. Его отец был руководителем закрытого КБ, мать – доцентом вуза. Из окон их большой угловой квартиры на шестом этаже были видны и дымы от мартеновских печей, и пресловутый Дом культуры, и вся площадь, треугольный сквер, кольцо восьмерки троллейбуса. В сторону сквера мы и отправились гулять. За нами увязался семилетний Сережин брат Шурик.

В конце марта неожиданно запахло весной: солнечно, тепло. Так ясно вспоминается: пустынная улица, широкий тротуар, запахи асфальта и нагретой земли из сквера, и Сергей пересказывает мне «Магелланово облако» Станислава Лема. Шурик перепрыгивает ручейки талой воды и носится вокруг нас со своим мячом.

В следующем квартале застреваем у гастронома. Пустые фасады, огромные окна, никакой рекламы, в простенках – длинные щиты с разворотами газе-

Жалость душила, хотелось догнать ее и дать еще пять рублей: так проходит мирская слава! Человек, блиставший на сцене, на экране, должен влачить жалкое существование и доказывать, что она когда-то была кем-то!

ты «Известия». Шурик никак не хочет идти дальше, а упорно стучит своим мячом в стену и ловит с отскока. Мы его особо не торопим. Нашу беседу прерывает возглас:

– Чей это мальчик?

Смотрим – какой-то мужик схватил Шурика за руку и держит.

– Это ваш мальчик?

– Наш, – говорит Сергей.

– Что это вы творите! Зачем вы мяч кидаете в портреты депутатов? Думаете, что делаете? Да вас за это посадить мало!

Смотрю, а в газетах-то ряды фотографий с выборов в Верховный Совет СССР! Мы понимали: выборы никого не волнуют, но к пятому классу уже знали, что такое «пришить политику».

Мужик продолжает вешать:

– Он еще маленький, а вы-то уже должны соображать! За ребенком следить надо! Сколько вам лет? Сейчас пойдем в милицию, разберемся!

Мы с Сергеем как будто приросли к месту и молчим. Ноги ослабели, испарина, мысли бегают: «Милиция... Что будет со мной, с родителями? Какие у них будут неприятности?»

Мужик отпустил руку Шурика и говорит:

– Смотрите у меня! В этот раз отпущу, но чтобы больше так не делали!

Уф! Чуть было не попали в историю! Желание гулять отпало, мы молча отправились по домам и потом эту сцену никогда не обсуждали. Спросить бы Сергея (он стал большим композитором и уехал во Францию), помнит ли, – но его уже нет на свете, а Шурик наверняка все забыл.

Таланкины и поклонники

На День Советской армии дочке исполнялся годик, у жены заканчивался декретный отпуск, и надо было отдавать девочку в ясли. Хотелось оттянуть это пугающее мероприятие до осени: лето провести на даче, только весну закрыть, – и мы стали искать няню.

В 1980 году в Ленинграде няни были редкостью, но мне повезло. Как-то после работы по дороге к дому выхожу из восьмерки троллейбуса и на столбе вижу объявление:

Кому нужна няня
или медсестра
ЗВОНИТЬ 253-XX-XX

Сорвал бумажку, хвостик с телефоном оставил себе, а само объявление выбросил и вечером, дожив жене и получив от нее согласие, позвонил. Мы уговорились о встрече в ближайший выходной, я назвал адрес. В конце разговора собеседница предупредила: «Имейте в виду, я беру пять рублей за визит». Пять рублей – немалая сумма, в заводской столовой неделю обедать, но заполучить няню – дело того стоит!

В субботу вечером раздался звонок в дверь, мы бросились открывать. Вошла худошавая женщина в легком пальто, шляпке и нитяных перчатках-митенках (такие носили сразу после войны, я видел в каком-то фильме) и очень-очень пожилая. Не снимая перчаток, она протянула руки к девочке, и дочка, которая к незнакомым людям относилась с большим подозрением (чуть что – сразу в рев), пошла к ней на руки. Хороший знак.

Прошли в комнату, сели за стол, и посетительница представилась:

– Лидия Таланкина, балерина. – Она достала альбом и стала показывать фотографии со съемок фильмов, в которых участвовала вместе с известными артистами. Я мало интересовался киноартистами, телевизор почти не смотрел, но Анатолия Папанова узнал.

– А где же вы танцевали?

– В Кировском, но это было так давно, мы ведь выходим на пенсию в тридцать пять лет! С тех пор я окончила медицинские курсы, получила диплом медсестры. И еще я заместитель председателя Общества охраны животных. Собачек люблю. Не хотите взять собачку?

– Собачку? – Ни я, ни жена никогда с собаками дел не имели, да нам и маленького ребенка хватало.

– Пристраиваю беспризорных собачек в хорошие руки. Возьмите собачку – я скидку дам! Пред-

ставяете, Алла Шелест, прима-балерина, так она дома ворон разводит, а я вот с собачками вожусь. Все мы, бывшие балерины, одинокие и немного сумасшедшие.

Получив свои пять рублей, она ушла. Мы с женой переглянулись: ясно, что ребенка и коляску на наш четвертый этаж ей будет тяжело поднимать. Жалость душила, хотелось догнать ее и дать еще пять рублей: так проходит мирская слава! Человек, блиставший на сцене, на экране, должен влачить жалкое существование и доказывать, что она когда-то была кем-то! Хотя, если подумать, пять рублей за визит...

С тех пор я часто рассказывал в компаниях про нашу встречу с балериной Кировского театра. Совсем недавно, упомянув ее в очередной раз новым знакомым, решил поинтересоваться творческой биографией Лидии Таланкиной, чье имя задержалось в моей памяти на сорок с лишним лет, и заглянул в интернет. Первой же ссылкой выскочило: «Дело балерины-расчленильницы!»

Выпускница Московского хореографического училища, 1902 года рождения (по документам – 1918 года рождения), в 1954 году убила и расчленила своего мужа, морского офицера, на 24 года моложе ее, за что была осуждена на 10 лет. Вышла на свободу в 1961 году по амнистии.

Отсидка до войны, работа на НКВД, профессиональное знание Камасутры («Злые языки утверждали, что вышла досрочно благодаря этому искусству»), семьдесят восемь лет при нашей встрече, если это была она... Удивление, которое я испытал, навяло любимое нами, атеистами, выражение: «Бог отвел».

Няню для дочки мы нашли, правда, пришлось возить к ней ребенка на двух автобусах с пересадкой. Девочка выросла и стала писательницей.

Без палки и поводья

Зимний пейзаж: голые ивы склоняются под ветром на заметном снегом склоне реки, а под картинкой стих. На двадцатипятилетие тетушка, учительница русского языка и литературы, подарила мне художественную открытку. В 1975 году я уже работал в ракетном НИИ, взрослый парень – смешно сказать, но эта открытка меня тронула, я ее сохранил, а стих запомнил.

Стихи меня, в общем, не задевали, но были важной частью в технологическом процессе: считалось, что они помогают знакомиться с девушками, а память у меня была хорошая.

В тринадцать я увидел у кого-то из парней томик стихов Асадова, такие пели во дворе под гитару. Даже запомнил что-то типа «Не ждал меня? Скажешь, дурочка...». Однажды у родных я упомянул этого автора. Тетушка подняла бровь и спросила:

– Тебе нравится Асадов?

Я замешкался, она добавила:

– Ну-ну...

Любовь к Асадову от этого «ну-ну» немедленно прошла.

Удивительно, но у нас тогда не было языка для обсуждения тем, связанных с любовью, сексом. Эпоха романтики: «Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского».

В репертуаре Асадов остался для девушек помоложе и попроще.

«Не робей, краса младая, хоть со мной наедине, стыд ненужный отгоняя, подойди, дай руку мне. – Цитата из Лермонтова в момент, близкий к решающему, позволял продвинуться дальше. – Ну, скидай свои одежды, не упрямясь, мы вдвоем...»

С девушками интеллигентными это бы не прошло. Обычно я с ними дела и не имел, но когда случалась, скажем, филологиня, то к ней путь проходил через сонеты Шекспира в переводе Маршак: «Бог Купидон дремал в тиши лесной, а нимфа юная у Купидона взяла горящий факел смоляной и опустила в ручеек студений». Дальше лажа про лечебный горячий источник и любовные недуги: «Но исцелить их может не ручей, а тот же яд – огонь твоих очей». Страшные времена!

Ближе к следующему дню рождения меня постигла несчастная любовь. К своему удивлению, я начал писать стихи. Растроганная тетушка оторвала от себя и подарила мне редчайший сборник Пастернака из Большой серии «Библиотеки поэта». Ни у кого такого не было.

Пастернак меня потряс. Казалось, мне открыт шифр к его стихам: как и он, во всем я видел любовь. Маршак, вслед за Асадовым, отделился и сгорел в плотных слоях атмосферы.

Мой друг тоже писал стихи. Я прочел ему свои, он позвал меня в ЛИТО, мы стали ездить туда вместе на троллейбусе.

Здание эпохи конструктивизма, просторное помещение, за столом – мэтр, член Союза писателей, напротив – ряды, на стульях молодежь, человек пятнадцать. Сначала один участник читает свои стихи, потом их ожесточенно критикуют собратья по перу, потом еще двое-трое читают, но уже без критики, затем заключительное слово произносит Мастер. Начинается главная, неофициальная часть.

Кто-то бежит за портвейном, пьют, почти не закусывая, страсти разгораются, мэтр травит байки, переходит на частушки с яркими рифмами. Допив купленное, по первому морозцу все идут до дальней станции метро, не переставая горланить.

Через несколько заседаний пришла очередь читать и мне, новичку. Я не переоценивал качества своих творений и для усиления эффекта решил начать ударно, взяв эпиграф с тетушкиной открытки.

Мэтр восседал за столом, немного сбоку, я встал по центру лицом к публике и начал декламировать:

*Зима. И все опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводиря.*

Воцарилась гробовая тишина. Народ замер. Стало слышно гудение ламп дневного света. В этой тишине я произнес: «Борис Пастернак». Сделал паузу и перешел на свой текст.

По рядам пробежал шумок, все зашевелились, как будто была команда «Отомри», но дослушали до конца. Двадцать лет спустя первый поэт кружка признался мне, что, услышав начальные строки, он замер с мыслью: «Поэт родился!»

Поэт не родился, но поэзия сыграла важную роль в моей жизни: в литобъединении я заметил одну девушку, в которую влюбился, и, кажется, взаимно, поскольку мы с ней женаты вот уже более сорока лет.

А начиналось все с поиска собственных выразительных средств, с поиска языка.

Память бесконечно колесит по маршруту детства. Я помню каждую остановку восьмерки, и с каждой связан какой-то момент жизни. Это кружение задает соразмерный мне масштаб города, мой ритм, мой лейтмотив, и к нему всегда хочется возвращаться. Возможно, если рассказать об этом другим, сам поймешь что-то важное о себе.

Как это выразить? Стихов я больше не пишу. Скрипка пылится на верхней полке книжного шкафа. Но синий сборник Пастернака со мной, поиск языка продолжается.



НА ДВА ГОЛОСА



МАРИЯ ВИШИНА

Родилась в 1996 году в Туле. Окончила факультет русской филологии и документо-ведения Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого, защитила магистерскую диссертацию. Работает в Тульской

областной детской библиотеке. Участница литературных смен форума «Таврида» (2019, 2020), семинара для молодых прозаиков «Отцы и дети» (2021), по результатам которого рассказы опубликованы в коллективном сборнике «Свой голос». Победитель конкурса рассказов «Письмо

писателю», организованного журналом «Юность» и порталом «Хороший текст». Один из авторов и редактор библиотечного проекта «Аристарх и Мардарий», который включает альманах молодых тульских поэтов и прозаиков и канал подкастов.

*А та, кого мы музыкой зовем
За неменьем лучшего названья,
Спасет ли нас.*

Анна Ахматова. Энума элиш

Когда наверху занималась первая заря и все только народилось на свет; когда румяное небо ласкало море жаром двух солнц; когда предвечные духи славили творение нового мира; и охотно рядились в его одежды, и плясали на его холмах, – тогда явился вместе с остальными дух музыки и сильнее прочих полюбил этот мир. Полюбил он также принимать облик странника, что ростом выше гор, и бродить от края до края земли. Над раздольной степью и над тенистым лесом, над прибрежными тростниками и над ледяными перевалами пела его свирель. Эхом откликались ущелья, вился вокруг птичий свист, а ветер вмиг разносил отголоски на все четыре стороны. Воздух наполнился звуком.

Из этого звука, точно из золотого руна, люди пряли звонкие нити песен. Были те песни о смехе и шуме пиров, о молодости, не знающей увядания, и смерти, приходящей подобно сну. Тот, кто слышал их, не ведал с той поры ни слабости, ни страха. И после того как последняя песня затихла, память о ней долго хранилась в сердцах и хранила их от тоски.

Но зазвучали иные напевы, иначе заиграла свирель. Всхлипнули, зарыдали голоса: жалобные и тре-

бательные, громкие и нестройные, – а им в ответ полилась серебристая колыбельная. Уже не вечная юность – вековечное детство тянуло свою ноту, и срывалось на крик, и не слушало утешений. Сотню лет не смолкал плач, но с годами его заглушили визг и вой, и дух музыки наконец разразился громовым раскатом. Отзвуки его и сейчас живут в горных недрах, где текут строптивые и быстрые подземные ручьи.

И вновь изменились песни. Теперь их наполнил медный звон: бряцало оружие, гремели доспехи, перекликались горны. От этих песен забывался вкус хлеба и солоно становилось во рту. Зато тело наливалось силой, такой, что камни крошились в руках, – только не было в ней ни покоя, ни радости. Потому все яростнее надрывались певцы, а свирель, уступая, вторила им все тише. Но когда весь гнев обратился хрипом, слабая мелодия одержала верх.

И медный звук, усмиранный, стал другим, и в нем воскресли на мгновение слова золотых лет. Снова были смех, и шум пиров, и праздность, и изобилие – но сквозь них слышались надгробные причитания и гул войны. Снова рождались герои, не знающие страха, – но лишь затем, чтобы найти смерть в чужих краях. Вместе с ними раз за разом гибла свирель и, оплакав последнего, совсем замолчала.

Тогда выполз на свет железный скрежет, будто кто-то двинул створки древних проржавленных во-

рот. И оттуда вырвались на волю несчастья, каких прежде никто не видел, и не стало больше ни правды, ни согласия меж людьми. И дух музыки, опечаленный, погрузился в тяжелый каменный сон.

Говорят, со временем он вовсе ушел под землю, и только нос его торчит среди долины низким песчаным холмом. Говорят, на том холме стоит городишко и жители там слышат странные звуки – точно великан храпит. Говорят... Ну да верьте больше, вам еще не то нарасскажут.

1.

Слухи в городе – та же мошкара: непонятно где заводятся, лезут в любой дом, а на рынке вьются тучей между рядами. Зудят, жалят: отмахивайся, не отмахивайся – достанут. Иной же слухок заползает в сердце и присасывается к нему, жиреет, пока не вырастет во всю грудь, а потом без конца шевелится в тесноте и впрыскивает яд в кровоток.

В тот день вокруг болтали особенно много.

- ...Потом глянул – сплошь гнилье всучить пытались, но уж он-то и сам дошлий...
- ...С такой выручкой им даже первый долг не покрыть...
- ...А что заморыш с виду – так Старуха из него день и ночь жилы тянет, это как пить дать...

Различив свое прозвище в настырном гудении голосов возле навеса, где на крючьях качались свиные туши и головы, она жадно прислушалась. Но говорили уже о другом:

- ...Барон *сам* теперь к нам собирается. Отец, как вернулся, так и сказал мне: чего ждать, навару или убытков, не знаю, а замок весь ровно улей. – Торговец, толстый рыжий детина, значительно умолк, выпятил бороду и подбоченился, не забывая следить за покупателями краем глаза.
- Да будет врать-то. – Шуплый коротышка подлез к прилавку и повел носом. – Барон от постели разве что до стола ходит, а от стола до постели. Это все знают.
- Все, может, и знают, а только тут случай особый, – обиженно протянул детина. – У отца моего в замке приятель, а у того племянник, так он Барону прислуживал и сам это слышал.
- Что слышал? – спросила женщина с корзиной, остановившаяся позади прочих.

Детина был явно рад повторить рассказ:

- Случилось все за обедом, когда поменяли блюда. Барону принесли молочного поросенка с яблоком. – Тут он гордо покосился на свой товар, как будто лично вырастил и зарезал того по-

росенка. – Но не успели подать, как непонятно откуда раздался голос. Барон, говорят, так рот разинул, что впору ему самому яблоко вставить. А голос трижды одно повторил: мол, в городе, что на Сонном холме, когда день будет равен ночи, очнется древний дух и родится от земли музыка. Слушайте ее, пойте ее, славьте ее. И на последнем «славьте» стало темно, хоть глаз выколи. А потом вспыхнуло что-то – и конец, точно ничего и не было.

- И какая такая музыка у нас, гвалт один, – покачала головой женщина.
- Да ведь Барон сюда со всем оркестром явится... – начал детина, но вдруг резко повернулся и завopil: – Стой! Держи его!

Толпившиеся у прилавка заволновались, задвигались, и, словно вода из опрокинутой чашки, это волнение плеснуло в ближайший проход, и дальше – в переулок, прочь от торговой площади. Кого-то сбilo с ног – взметнулись и исчезли длинные грязно-белые рукава, кто-то перевернул ящик, и по земле раскатились хрусткие кочаны капусты. А над всей этой суетой испуганным роем взвились жалобы и крики, сетования и ругательства.

- Окорок стянул, паршивец! – ревел детина.
- Да кто? Кто? – спрашивали его со всех сторон.

Набрав в грудь побольше воздуха, он хотел, видно, прогреметь ответ, но тут заметил Старуху – да так и забыл выдохнуть. Лицо его пошло красными пятнами, отчего он сделался похож на большой бурдюк в винных потеках. Наконец, растеряв прежнюю словоохотливость, детина выдавил:

- Н-не успел... разглядеть. – И отвернулся, принялся поправлять колбасные кольца.

Старуха довольно хмыкнула и снова медленно пошла по краю рынка, присматриваясь и прислушиваясь, но без особого интереса. Она и так точно знала, кто украл мясо.

На самом деле Старуха была вовсе не стара, даром что казалась усохшей. Прозвище пристало к ней, как заплатка из грубой ткани к дорогому платью: прорехи не видно, но каждый понимает, где она и насколько велика. Так всякий, кто говорил «Старуха», слышал и непременно «с серпом» – и ежился, морщился, будто чуял мертвечину.

Смерть и правда ходила рядом. Вдова мелкого ростовщика, Старуха куда больше покойного мужа преуспела в этом искусстве. Из толики сбережений, как садовник из горсти семян, она вырастила богатство, и бедняки слетались на него, точно комарье на росянку. Кого выедала зависть, кого иссушал долг, а иных и вовсе дождался омут – или петля.

Старуха же любую прибыль пускала в дело, и в конце концов весь город оказался у нее в руках.

Зато дом, доставшийся ей от мужа, выглядел нищенски и городу как будто не принадлежал. Светлые, похожие, как братья, сосновые срубы теснились на узких улицах, льнули один к другому – только бы подальше от нелепого, кривоватого строения на отшибе. Издали оно казалось не то сараем с десятком навесных кормушек и голубятен, к которым никогда не подлетали птицы, не то вывернутым наизнанку чуланом – так, что все полки и сундуки лепились к наружным стенам. Внутри дом пронзал длинный коридор – от считавшейся парадной двери до черного хода, ведущего на задворки, где давным-давно ничего не росло. Все левое крыло занимали комнаты, вроде и обжитые, но вечно стылые, темные, с мутными окнами из желтоватого бычьего пузыря. Справа была кухня, а возле – множество кладовок и закутков, о половине которых не знала и сама Старуха.

Наверное, если бы она жила одна – не считая подслеповатой кухарки, приходящей по утрам готовить и смахивать кое-где пыль, – то рано или поздно дом съезжился бы изнутри, скопил все тепло в небольшом углу, отдав остальное на милость плесени и ветра. Но рядом со Старухой вот уже почти семь лет обитало другое существо – нельзя было понять: человек ли, зверь – или, точнее, звереныш. Болтали разное: то ли Старуха лесную нечисть прикормила, то ли сироту подобрала, не из жалости, конечно, а так, по прихоти, – да и забыла, как надоел. Кое-кто даже клялся шепотом, будто ребенка этого – убогого, полудикого, – привел бывший известный волокитой ростовщик, а Старуха пасынка теперь не гонит, чтобы злость срывать. Может, поэтому она придумала свою, злую историю: о том, как нашла в сточной канаве не младенца – крысенюша, уткнувшегося в бок огромной крысы (в городе их отчаялись извести); как передала и передумала весь гладко-розовый, скулящий выводок и оставила только одного, самого крупного, похожего на уродливого недоноска. Она так и звала мальчишку – Крысинный выкормыш, а после просто – Выкормыш. В городе кличку подхватили, но добавляли осторожно: не Крысинный – Старухин.

Повадки у него, однако, и впрямь были звериные. Сутулый, жмущийся к земле, словно всегда готовый встать на четвереньки, Выкормыш то опасливо крался, то двигался рывками; до дрожи боялся крика; глядел затравленно, исподлобья, пряча лицо за длинными грязными лохмами. Говорить он выучился кое-как, а порой, когда его о чем-нибудь спрашива-

ли, тихо рычал вместо ответа и скалил зубы. В Старухином доме он забивался в липкие от паутины углы, устраивал там из хлама и тряпья укромное логово, на улицах – искал тень погуще или вместе с другими беспризорными шнырял в толпе, где нестерпота застила глаза не хуже дыма. На рынке Выкормыш, вечно полуголодный, быстро наловчился воровать. Подачек он не брал: в городе всегда находились любители поразвлечься, и особенно остроумным считалось начинить хлеб для попрошайки рыбьей чешуей с костями или живыми гусеницами.

Когда Выкормыш попадался, его били, но Старухе жаловались редко. Хорошо, если она только смеялась и после давала мальчишке несколько оплеух, но могла и требовать с недовольного, как правило, ее должника, лишние проценты – за глупость и назойливость. Почему ее слушали, толком никто не знал: казалось, вместе с медальонами и часами у Старухи оставалось в залоге что-то еще, без чего человек напоминал тряпичную куклу с выпотрошенной соломой или высосанную хорьком яичную скорлупу.

Особенно Старуху забавляло, если Выкормыш зарился на мясо. Готовить его никто бы не стал, поэтому тот окорок, что стащили у болтливого торговца, скорее всего, уже гнил в какой-нибудь яме. Думая сейчас об этом, Старуха почти гордилась своим не то воспитанником, не то дрессированным питомцем, словно бессмысленность его выходов была сродни тому, как глумилась над всеми она сама.

Стоило ей вспомнить о краже, как, непрошенные, явились другие картины этого утра – так за калиткой открывается вид на широкую улицу. Снова вокруг суетился рынок: все бежало, катилось и мельтешило, взвизгивало и бранилось, скулило и стрекотало – хотя на окраине, где шла Старуха, было тихо. Она сворачивала по хлюпающей от грязи дороге – и в то же время расталкивала толпу между прилавками; заглядывала в чужие дворы – и перекладывала, ворошила овощи, чтобы добраться до спрятанной гнильцы; обламывала ветви кустарника на обочине – и сквозь треск различала шуршащие, словно сухая кора, пересуды и шепотки. Только запах над всем плыл один: прела падалица, и попусту созревшие сливы, груши, яблоки душили весь город своей обидой. Этот запах, точно прослойка между коржами, соединял нынешнее и прошедшее, и Старуха заглядывала их без разбору.

Но, как в пироге порой попадается косточка, или горошина перца, или угодившее в тесто насекомое, так и Старуху вдруг что-то заставило вздрогнуть и остановиться. То ли камень продырявил башмак, то ли вспомнился странный разговор. А может, спо-

ткнувшись, она разозлилась и невольно смешала одно с другим – и пустячное слово выросло, набухло от ее раздражения.

Как бы то ни было, но Старуха погрозила небу кулаком и сказала:

– Ваша музыка будет мертворожденной.

А высокое ясное небо, точно древнее чудовище, глядело на нее единственным желтым глазом.

2.

Замок гудел, будто улей. Барон в третий раз велел укладывать вещи по-новому.

Сквозь распахнутые двери до главного зала доносилось эхо общей суеты. Звон. Стук. Топот и шарканье. Перебранка слуг на внутреннем дворе. Голоса растревоженных последними вестями приживал. От едва различимого шороха до крика и визга, громче, выше – и вдруг тишина, словно дыхание закончилось. Все неважно.

Барону, утопавшему в низком кресле, шум нравился: влажная улыбка, блаженно сощуренные глаза. Раздувающиеся ноздри – точно не слушает, а чувствует, как скорый обед, лучшая закуска перед которым – чужие хлопоты и сказки паяца. Барон одинаково легко переваривал и новую историю, и жареную утку.

В коридоре, где, похоже, увязывали тюки, деревянно хрустнуло. Резкий, неправильный звук.

– Что там, Шут?

Он прислушался к глухой ругани и поморщился.

– Кажется, сломали вторую люкню.

Барон затрясся от смеха – ни дать ни взять желе на тарелке. Жадный до всего громкого, яркого, сладкого и горького – без разбору, – он не раз поливал чеснок сиропом и считал, что треск ничуть не хуже звона струны.

– Последний аккорд что надо, а?

– Фальшивый.

– Ты скучен сегодня. – Барон почесал пухлую щеку и подпер голову рукой. – Довольно молчать, продолжай. Говоришь, там люди для ослов вместо скота были?

– Да, ваша милость.

– И как же тебя за скотину не приняли?

Шут на цыпочках, мягко ступая, подошел к креслу, так что Барону пришлось смотреть на него снизу вверх. Потом тряхнул головой – звякнули бубенцы, – и сказал недовольно, словно объяснял очевидное:

– Из-за моего колпака, разумеется.

Он снова замолчал, подбирая верный тон, и продолжил с нарочитой вежливостью:

– Те благородные создания – мне приходится называть их ослами, поскольку человеческий язык слишком груб для их имени, – так вот, те благородные создания, конечно, догадывались о моей природе, но держались с подчеркнутой предупредительностью.

Слова, взятые взаймы, тянулись грузными обоями, воздуха едва хватило на фразу, но надо было продолжать.

– А худшим оказалось то, что теперь я сам видел доказательства гнусности моей породы. Родство людей с отвратительными существами...

– Ты и впрямь отвратителен, – хохотнул Барон.

– Как вам угодно. Шут поклонился, скрывая лицо. – Хотя непросто даже перечислить пороки этих образин, я уверен, вы можете понять их, как никто другой. Ведь ваша милость, напротив, образец и мудрости, и благонравия.

Тут Барон согласно пожевал губами – наверное, он гордился своей пронизательностью не меньше, чем добродетелями.

– Я говорю о полуживых-полулюдях, без одежды, зато косматых, что ваши псы. Шерсть у них вечно в грязи и испражнениях, а потому вонь такая, словно рядом десятков выгребных ям. Простейшую работу, для которой они только и годятся, образины выполняют медленно и неохотно, так что хозяевам приходится постоянно понукать их. Впрочем, ослы делают это с похвальным терпением, которое одни глупцы сочли бы ослиным упрямством.

– Вчера я велел палачу хорошенько проучить конюха за такое упрямство. Предатель никак не хотел седлать. И кляча-то паршивая была, дальше ворот не двинулась. Снова.

Грузные вздохи, пенисто-белый конский хрип и свист кнута, по лошадиным глазам, по человеческой коже, стон, ржание – дурная разноголосица живет в сердце долго и вспоминается нехотая. Впрочем, Барон явно думал иначе: дыхание его участилось, он облизнулся и причмокнул – Шута передернуло. От омерзения заготовленная речь вылетела из головы, но, к счастью, взгляд зацепился за рубин на жирной Бароновой шее.

– Не будем отвлекаться. Я забыл упомянуть, что порой образины проявляют недюжинную прыть. В тех землях много пересохших рек, и в их руслах попадаются блестящие камни, похожие на те, что хранятся в вашей сокровищнице. Твари не жалеют сил, чтобы добыть хотя бы один, иногда проводят дни и ночи, разгребая завалы или роясь в песке. Руслы же вдобавок полны нечистот,

Когда он понял, что здесь, среди несокрушимо-немых стен, среди незрячих и глухих мужчин, женщин, детей, хватающих руками лучи и песни, среди тучных и тощих, *она* является по первому слову, то согласился остаться в замке и зваться Шутом.

поскольку там устраивают отхожее место, и за обычное дерьмо случаются драки, как за драгоценность. Думаю, сильный, пусть и мерзкий запах привлекает образин так же, как яркий цвет.

– И много там было... блестящих камней? – Голос Барона, самодовольный и тягучий, зазвучал по-новому: алчно, склочно, с завистливым при- свистом.

– Меньше, чем дерьма. – Шут совсем сбился с тона, но, заметив недовольство, поспешил, как прежде, укрыться за чужой манерой: – Прошу меня про- стить, я не уделил этому достаточно внимания, хотя ослы с охотой отвечали на мои расспросы и весьма интересовались обычаями нашей стра- ны. Кажется, в тех беседах я вообще многое пу- тал, потому что нередко вместо нашего уклада описывал самые скверные повадки образин.

Он перевел дыхание. Барон на этот раз тоже мол- чал: или устал, или не понял даже отдельных слов, на которые мог бы ответить. Пора было заканчивать.

– Из-за моего красноречия мне в итоге пришлось покинуть остров. Рассказывая о том, как мы об- ращаемся со скотиной, я упомянул и о холощении молодых животных. Ослы сперва взбеленились, но потом признали, что это отличный способ из- вести надоевших им образин. К несчастью, вне- шне я тогда уже мало чем отличался от них, ведь мой колпак и прочая одежда совсем обветшали. Чтобы избежать печальной участи, – Шут вздох- нул, – я решил вернуться на родину.

В зале стало тихо. Звуки возни за стенами – ка- залось, примолкшие – вновь просочились во все щели, лезли в уши. Нелепость – без ритма, без цели: только глупец к этому времени мог не понять, что сборы ни к чему не приведут.

Наконец Барон спросил:

– И ты впрямь это видел?

– Видел, или слышал, или выдумал – велика ли раз- ница, ваша милость?

– Ску-ука... – Барон зевнул, и Шут, глядя на его влажно-розовый язык, уже знал, что будет ска- зано дальше: – А теперь сыграй.

Следующие мгновения он ненавидел – и ни на что бы не променял. Каждый раз проживал их, как иные проживают часы, снова и снова вспоминая одно и то же. Впрочем, выбирать было не ему.

Шут закрыл глаза и достал из-за пазухи флейту.

...Когда он понял, что здесь, среди несокрушимо- немых стен, среди незрячих и глухих мужчин, жен- щин, детей, хватающих руками лучи и песни, среди тучных и тощих, *она* является по первому слову, то согласился остаться в замке и зваться Шутом. Жить тут было зябко и скучно: непротопленные комнаты, пыльные гобелены, гуляющий по залам, точно сквозняк, ропот, липкая лесь. Пустоты. Что ни тронь – отзовется гулко, голодно, будто полый панцирь. Хищное место, невозможное, как тварь без нутра, – но все же за мрачностью сводов, кишением слуг, необъятным брюхом Барона чувствовался один и тот же непомерный аппетит.

Конечно, *она* могла бы ворваться сюда, ветром, вихрем, все закружить и запутать, смести, смять и выстроить заново, просторно и светло, – но за- чем-то хромала, как нишенка, заговаривала вечный голод то плачем, то шепотом и в конце концов, по- бежденная, затихала. Всякий раз *музыка* умирала – бессмысленно, невыносимо.

И всякий раз из памяти об этом рождалась – нет, еще не нота – тишина перед первой нотой.

...Когда-то он звался Бродягой: для нового дня выбирал новую дорогу, и каждая говорила с ним своим голосом. Гнусавили мостовые порта, жабой сидящего у воды; чавкали осенние тракты; сипели тропы на песчаном предгорье, где под ноги летела желтая пыль. Меж дорог – паузами – задавало ритм бездорожье: немое, непролазное, негаченное. Но среди всех проулков, причалов, околиц, болот, за третьим, или седьмым, или сотым поворотом всегда ждала *она*.

Это походило на охоту за своенравной птицей, единственной в своем роде. Не высматривать – вы- служивать, выслеживать, принаравливаться к по-

вадкам, расставлять силки, сплетая надежды и обеты, – и оставаться ни с чем, обманываться снова и снова. Терять силы, отчаиваться – и наконец чувствовать, как щеку задевает крыло. *Музыка* являлась внезапно, вдруг, как перемена погоды, во сне или наяву, и на миг заменяла воздух, и, не дав надыхнуться, пропадала, и опять звала за собой.

Как было не спросить: куда? Неужели в эти стильные, ненасытные и неблагоприятные застенки?

Тут флейта, которая уже вела свою мелодию – от низкой гудящей ноты, медленно и неуверенно, сбиваясь через такт, – допела до самого верха и резко, вопросительно замолчала.

...Тогда, подхваченный быстринной, он впервые узнал, что такое звук. В темной лесной деревушке, где детство длилось, как сон в утробе, – это теплое, округлое, беспамятное и тесное детство, – глухоту почти не считали изъяном. Мир был знаком по запаху, на ощупь, так что даже глазам не находилось дела, и взгляд вечно скользил мимо гладких бревен, шершавых прутьев изгороди, колючих зарослей, мимо привычной смеси хвои и древесной трухи – дальше, дальше, к границе, к реке. Лес там заканчивался обрывом, а за ним открывался ясный холодный простор. Свежесть. Свет.

Ветер в тот день налетел внезапно – и все дрогнуло, двинулось: небо накренилось, земля ушла из-под ног. Со всех сторон обрушилась вода, она заливала глаза, уши, нос, рот, пропитывала одежду, волосы, тело, текла внутри, будто новая прозрачная кровь. Он сам, казалось, был уже не семилетним мальчишкой без имени – нет-нет, кем-то другим, кто чувствовал все разом: здесьсолнцевдохнутьбыжжетсявглубь, – а в груди росла, ворочалась угловатая тяжесть. И музыка, *такая далекая*, вырвалась, *ворвалась*, откуда-то изнутри, *прямо в сердце*. Тогда он услышал, как его позвали – и нарекли.

Флейта была больше не нужна, но Шут все-таки не отнимал ее от губ. Музыка накатывала и отступала по своей воле, проникала сквозь стены и вещи, пронизывала их, связывала, наполняла все до краев. *Восполняла*. На миг перехватывало дыхание – от радости и ужаса, от близости чего-то неведомого и необратимого, но полнота, никогда не достигая предела, опять умалаялась до звука, рассыпалась, как рассыпалось на десятки кличек его, Бродяги и Шута, настоящее имя. Он, конечно, помнил о нем. Но только играя – вспоминал.

Барон слушал флейту улыбаясь и после сидел притихший. Думал о чем-то или просто спал с открытыми глазами? Он показался Шуту скорее заспанным, когда сглотнул и велел:

– Скажи, чтобы несли обед.

...Едва стемнело, Шут выскользнул за ворота замка. На дорогу навалилась такая тишина, что сразу захотелось повернуть обратно, но он не позволил себе даже замедлить шаг. Нужно было торопиться: до осеннего равноденствия оставалась неделя без одного дня.

3.

Если где-то в доме подгнивает забытый кочан капусты или закатившийся под скамью огрызок яблока, это бывает заметно не сразу. Вонь расплозается медленно, смешивается с привычными запахами: поди пойми – тянет ли от компостной кучи во дворе или от позавчерашнего супа. Тут и там появляются мошки, одна крутится перед глазами, другая лезет в тарелку – поди поймай. Сперва это кажется случайным, не стоящим внимания, но гниль растет и в конце концов выдает себя.

В последнее время Старуху злил любой пустяк. Повсюду царило странное оживление, если не сказать копошение: разговоры вели глупые, дела бросали на середине. Бакалейщик, пожаловавший за долговой распиской – его запасы якобы погрызли полчища крыс, – мямлил невнятицу с полчаса, потом махнул рукой да и ушел без денег. В другой вечер жена пекаря, опустив в колодец дырявое ведро, пересказывала снохе свой сон: как она ест и ест малиновое варенье, а того все больше, горшки лопаются, весь пол залит, и так сладко, что даже зубы ломит, только запах почему-то свежий – не то мелисса, не то еще что... Дурь дурью, конечно, – Старуха так ей и заявила, – но на Сонном холме никто давно не видел снов.

Нынешнее утро меж тем выдалось спокойным. Накануне, правда, под землей что-то рокотало, но к этому звуку в городке привыкли – настолько, что шутики об отрыжке и несварении наскучили даже кабацким завсегдатаям, вечно твердящим одно и то же. И, хотя в этот раз не успокаивалось долго, чуть ли не всю ночь, к рассвету на улицах разве что зевали чаще обычного. Старуха же и вовсе спала как убитая.

Проснувшись, она первым делом проверила тайник с выручкой – и осталась довольна: коврик на половине никто не сдвигал, все монеты были на месте. Выкормыш не появлялся второй день – должно быть, пока тепло, прятался по задворкам после очередной затрещины, – и сам дом, словно так и норовящий подсмотреть и подслушать, наконец ослеп и оглох. Притих. Тишину Старуха любила, больше

гвалта и больше песен, – а впрочем, те, кто ее знал, сомневались, что она отличает одно от другого.

Вокруг же, словно чтобы ей насолить, вслед за проворонившим окорок детиной все говорили о музыке. Полмесяца ждали Барона: сперва как важного гостя, с опаской и любопытством, потом, все больше распаяясь, уже как хозяина, который наконец вернется, закатит пир горой и наведет лучшие порядки. Дошло и до того, что его называли *тем самым духом* и шикали на тех, кто по привычке шутил над баронской неповоротливостью и злым тугоумием, известными всем. Ругались и спорили вообще много, и чаще по мелочам. В собрании как-то подняли на смех дряхлого скорняка, припомнившего сказку о великане-под-холмом, а потом ее же толковали до хрипоты. Но все это без злобы и как бы не всерьез, от избытка сил и детского желания переспрашивать: а будет ли то, что обещано, а хорошо ли оно будет, а скоро ли.

Хотя такие разговоры вызывали у Старухи оскмину, показывать недовольство она не спешила: точно зверь, нутром чужла неладное и выжидала. Иногда непонятное чувство притуплялось, и на смену приходило недоумение: бояться? ей? В хорошие дни она почти решалась в следующий раз прервать, пресечь, прекратить – но, когда доходило до дела, осторожность опять брала верх.

Сегодня был хороший день, и, хлебая жидкую кашу, Старуха едва ли не с потехой вспоминала все странности, заполнившие город с недавнего времени, – так по вечерам приятно перебирать в уме сложные, но удачные сделки. Все эти волнения, и предчувствия, и надежды, и сны скоро, уж конечно, должны закончиться, должны забыться и омертветь – закамнеть где-то в недрах памяти. На одной ярмарке Старуха как-то заметила такие – будто прямоком из ночных видений – ракушки и булыжники причудливой формы, и человек в сером балахоне рассказывал тогда, что камни, желая походить на живых существ, растут и меняются внутри земли. Мертвые еще до рождения и сразу же похороненные, они никому не доставляли хлопот и разве что потрескивали тихонько, ворочаясь в своих тесных ямках. Старуха мысленно разложила то, что ей досаждало, по таким ямкам – пусть себе там звенит, – и представила, что она тоже – камень, и вокруг нее толща горы, а на душе спокойно и беспробудно, словно все в мире расставлено по полкам, помечено и заперто, и нет этих бесконечных просторов, которые так много сулят, по которым так больно идти...

Что-то хлопнуло, стукнуло, свеча на столе погасла, и желтый свет сменился белым. Старуха за-

жмурилась и почувствовала, как невесть откуда взявшийся ветер пробрался ей под одежду, а поток запахов разогнал прогорклое, застоявшееся тепло комнаты. Время как будто провалилось в яму и, пытаясь выбраться, каждый раз соскальзывало обратно, к первому мгновению, – и следом за ним металась, скользили, возвращались к одному и тому же мысли: оно, оно! Выронив ложку, Старуха сжала кулаки – так, что ногти вонзились в ладонь, – и почти телесным усилием заставила себя не думать и не чувствовать; открыла глаза.

Бычий пузырь, натянутый на окне, лопнул, и сквозь дыру с неровными, завернувшимися, трепещущими краями видно было, как по дороге, поднимая пыль, удирают двое мальчишек, похожих друг на друга и еще на десяток оборванцев, как они добегают до ближайших домов, перемахивают через заборы и исчезают в каком-то проулке. Старуха вскочила – скрипнул отодвинутый стул – и бросилась во двор. Мельком она успела заметить большой камень на полу, и то ли от игры расстроенных, вспугнутых чувств, то ли от быстрого движения ей показалось, что он вдруг завертелся на месте, пища и хихикая, и в его зубчатых гранях проступили крысиные черты.

На улице уже, конечно, было пусто. Даже пыль почти осела, только кое-где слабый ветерок гнал к обочине, распушал и развеивал светлые полупрозрачные облачка. Старуха огляделась. Вокруг все замерло, как на рисунке, мирно и плоско: низкое небо, затянутое серым, по бокам румянилось, точно поспевающее яблоко; бурьян возле изгороди перекрещивал зеленые, серые и песочно-желтые стебли; серым же отливала растрескавшаяся перед крыльцом земля. Все цвета тихие, грязноватые, безопасные: от них не захватывало дух, сквозь них не брезжило ничего далекого и незнакомого. И все-таки Старуха не могла сойти с места и, пытаясь ли унять тревогу, рассчитывая ли в конце концов застать кого-то врасплох, раз за разом поворачивала голову то вправо, то влево. Одновременно, не полагаясь лишь на глаза, она по-животному жадно втягивала ноздрями воздух – и наконец поймала, почувствовала невозможный здесь запах. Так, должно быть, пахло в саду, которого поблизости отродясь не было, – свежо и сладко.

В надежде найти простую разгадку – брошенную кем-нибудь сливу, пробившийся меж сорняков росток мяты – Старуха завернула за угол дома и обшарила взглядом наполовину сухие кусты ракиты. Но стоило ей раздвинуть длинные плети, как что-то темное, рычащее выскочило из зарослей, бросилось

прочь и, запнувшись о прутья, распласталось прямо перед ее ботинками. Это был Выкормыш.

Старуха быстро поставила ногу ему на спину, придавила к земле. Довольно долго он извивался, сучил руками, но потом затих, смирился, только в горле у него продолжало клокотать. Тогда она наклонилась, схватила его за сальные волосы и подняла. Выкормыш больше не пытался сбежать: втянув голову в плечи, он тарашился на Старуху – не то заискивающе, не то злорадно. Лицо его от лба до подбородка исчертили грязные потеки, и потому выражение никак не получалось уловить. Садом больше не пахло, вместо этого несло потом, плесенью и почему-то рыбой.

Взбешенная из-за напрасного страха, выбитая из колен, Старуха сперва просто молчала и иногда встряхивала Выкормыша, уцепившись за воротник. Наконец она вспомнила, с чего все началось, и прошипела:

– Кто это был?

Выкормыш ослабилась. Свободной рукой Старуха ударила его по щеке.

– Я знаю, что ты видел. Кто это был?

Тихо.

– Кто здесь был?! – Она повысила голос, почти перейдя на крик.

Выкормыш затрясся, замотал головой и пробурчал:

– Высоко. Бом. Птица.

Старуха кивнула, разжала пальцы, и он тут же рванул в дом.

О том, что дела у часовщика идут плохо, она, конечно, знала. В прошлом году он взял большую ссуду, а с месяц назад пришел за второй, но едва ли это могло помочь. Когда-то умелый мастер, часовщик за полгода то ли мало-помалу забыл свое искусство, то ли подслеповат стал, но все часы в городе и, по слухам, даже те, что он чинил у Барона в замке, с каждым днем отставали сильнее и сильнее, сколько бы их ни переводили. Теперь на башне ратуши било шесть, когда солнце стояло в зените, и механический петух, сидящий над циферблатом, – он-то и поражал Выкормыша настолько, что тот иначе не представлял себе часы, – взмахивал крыльями лениво и неуверенно. Часовщик же часто наведывался в кабак и, захмелев, ворчал себе под нос, что это проклятое время ему назло бежит быстрее и быстрее.

Старуха ссудила его деньгами и в первый, и во второй раз. Как сыр кладут к дальней стенке глиняной ловушки, чтобы крыса, протискиваясь за ним, целиком забралась внутрь и сама перегрызла нить, удерживающую пластину над лазом, так и человека надо окружить долгом, прежде чем требовать про-

цент. Тогда одна добыча потянет за собой другую. И вместе со старым облезлым часовщиком в капкан попались тощие, нахальные, полные жизни погодки – его сыновья. Старуха могла забрать у их семьи все до последней крохи хлеба, но пока не спешила. До сегодняшнего утра.

Шагая к часовой мастерской, она кипела от злости: камень, брошенный в ее окно, был дерзостью, на какую в этом городе уже давно никто не осмеливался, тем более – никто из должников. Старухе казалось, что из рук у нее вдруг выдернули нити, которые она так долго и старательно натягивала: от улицы к улице, от дома к дому, от просителя к поручителю – сметывая, связывая, сдерживая. И виновато во всем то странное, неуловимое новое, что витало в воздухе в последнее время.

Между тем ветер усилился, на небе дрогнули облачные веки, и солнечный глаз уставился прямо на Старуху, вынуждая опускать лицо и щуриться. По дороге впереди бежала тень, и, хотя это, очевидно, была ее, Старухина тень, что-то в ней не давало мыслям покоя, точно раньше, с невозможным запахом, – что-то настолько же смутное и притом несомненное. Но в этот раз догадка опять и опять ускользала: даже через платок затылок припекало нещадно – и думалось тяжело.

Ближе к ратушной площади улицу захлестнули гомон и суета: все распахивали двери, куда-то бежали, обгоняя друг друга, что-то кричали и прятали головы. Старуха остановилась. Еще до того, как она посмотрела вверх, один вид людей, похожих на перевернутые дорожные указатели, заставил ее оглянуться и все понять. У ног каждого лежало две тени, а небо наконец избавилось от своей кривизны.

Мимо, почему-то и не покосившись на второе солнце, промчался молодой подмастерье каменщика. Он случайно толкнул Старуху в плечо, но только на миг запнулся и бросил:

– Там, у «Великана»!

Трактир «Спящий великан» находился рядом, за углом. На вывеске, отдавая дань местной легенде, изображали носатого толстяка: он раскинулся на спине и открыл несуразно большой рот; на подбородок стекали струйки слюны, точно великану снился жирный тушеный кролик. Обычно до обеда народ возле трактира не собирался – разве что нищие, которым служанка, пока мела ступени, иногда выносила остатки вчерашней еды, – но сегодня тут столпилась добрая четверть города. Старухе пришлось хорошенько поработать локтями, чтобы попасть в первый ряд.

Представление, судя по всему, началось недавно. На свободном участке мостовой замерла, изредка виляя хвостом, единственная непарная тень, напоминающая крупную полурыбу-полузмею с крыльями. Самого существа нигде видно не было; шептались, будто оно повисло высоко-высоко в небе, громадное, но прозрачное, как мушиное крыло. Вокруг тени приплясывал глухонемой побирушка, известный фиглярскими замашками и тем, что ради подачки не гнушался выкидывать самые унижительные трюки: прогуливаться голышом по рынку, вылизывать кому-нибудь сапоги. Сейчас он делал вид, что ловит непонятную тварь: широко расставлял руки, шевелил пальцами, приседал – и неожиданно прыгал в сторону, обхватывал пустое место и корчил такие рожи, словно вот-вот помрет от натуги. При этом он, конечно, не забывал оборачиваться и проверять: одобряют? смеются? Но зрители отзывались скупно.

Во время одной из таких проверок побирушка вдруг споткнулся и повалился на бок, прямо в тень. Та встрепенулась, на мгновение обвила его хвостом – и исчезла. Те, кто стоял ближе, отпрыгнули, но сзади еще не разобрали, что случилось, и продолжали напирать. Старуху увлекли вправо, кто-то вцепился ей в рукав – да так, что ткань с треском разошлась, – кто-то потянул за подол, наступил на ноги. Кажется, она сама впечатала деревянную подошву в живот какому-то упавшему недотепе: снизу охнули, застонали, заголосили. Давка навалилась всей тушей, смяла ряды, сдавила ребра – и так же внезапно откатилась, оставив синяки и растерянность: улица была широка, и толпа, из-за путаницы слепившаяся в ком, под напором изнутри брызнула в стороны, рассыпалась по соседним лавкам и перекресткам.

В суматохе никто не обратил внимания, что побирушка лежит как упал, не шевелясь, только губы у него дрожат и из глаз течет: безостановочно, беззвучно, будто не слезы даже – вода. Чуть погодя это заметили последние зеваки – самые упорные, из тех, кто и при пожаре надеется на продолжение, – но, отпустив шутку-другую, списали все на очередное дурачество и потеряли интерес. В конце концов трактирщику, который уже несколько раз высовывался из дверей, надоела эта картина; он спустился и легонько пнул побирушку в спину, а после, когда тот и не дернулся, хлестнул его снятым с пояса полотенцем. Ничего не изменилось.

Старуха следила за часовщиком – тот затесался между прочими бездельниками и ротозеями: без

сыновой, зато уже навеселе, – и потому видела, как трактирщик замахнулся вновь, но кто-то незнакомый перехватил его руку. Чужаки в городе были не сказать чтобы редкостью, но все же событием, а у этого вдобавок под обычным плащом цвета грязи топорщился желто-зеленый шутовской костюм. Старуха нахмурилась, насторожилась: единственный шут, о котором она слышала, развлекал Барона и мог явиться сюда лишь вместе с ним.

Ее опасения подтвердил трактирщик, не так давно служивший на замковой кухне: поняв, кто его остановил, он оборвал ругань на полуслове, весь – от вытянутых губ до присогнутых коленей – округлился, раздумялся, будто пышка в печи, заулыбался:

– Ну наконец-то!

Даже не взглянув на него, шут присел на корточки, подложил ладонь побирушке под щеку и принялся то ли что-то нашептывать, то ли тихо напевать. Вокруг рассмеялись:

– Эй, ты, да он же глухой как пень!

Шут не ответил. Старуха подошла ближе и попыталась различить, что он там бормочет, но, кроме смутно знакомого мотива, ничего не расслышала. Память тоже подсовывала ей какую-то ерунду: как стучит, рассыпаясь по полу, сухой горох; как пахнет чабрец; как вода падает с высоты, и брызги висят в воздухе, точно рой маленьких перламутровых стрекоз, и грохот, от которого хочется зажать уши и плакать, становится урчанием большого зверя, сворачивается у ног, ластится, но столько жара, столько неба – как страшно, больно, невыносимо...

Старуху бросило в пот. Отшатнувшись, едва переводя дыхание, она с ненавистью смотрела, как побирушка медленно поднимается, а шут поддерживает его за плечи. Камень, похожий на крысу, испоганенное окно, часовщик – все это стало мелким, игрушечным, а настоящим врагом были желто-зеленые ромбы, ухмылявшиеся втихомолку из-под серого сукна, – подлость и глупость под маской простоты.

Тут трактирщик, уловив мгновение, подлез к шуту с вопросом:

– Ну я комнаты-то приготовлю?

Старуха вновь, теперь еще яснее, почувствовала, как рвутся, режут ей пальцы нити, оплетающие город, и быстро сказала:

– Думаю, он остановится у меня.

У трактирщика вытянулось лицо, но, не теряя надежды, он наседавал:

– А остальные? Скоро ждать-то?

И тогда шут произнес слова, от которых нити замерли и Старухе почудилось, будто небо наконец-то смежило веки и зарядил скучный и правильный осенний дождь:

– Я один.

4.

Музыка была повсюду.

Городишко набух звуком, как почка по весне, еще немного – и распустится. Земля под ногами пела: низко, протяжно, чуть глуховато со сна. Что ни шаг, то словно по живому, и ступать приходилось как в танце. Легко. Мягко. Слушая ритм.

Воздух наполнился звоном. В паузах между хлопками, криками, шарканьем, щелчком, между всплесками шумной и нестройной волны – того гляди накроет, понесет, – этот звон, омытый, выныривал из самых глубин и становился теплом и светом. Флейта грелась, томилась за пазухой: подыграть бы, рассказать бы всем – но ликование только начиналось и времени было вдоволь.

Женщина впереди не то чтобы ничего не слышала – скорее не слушала, да так усердно, что рядом с ней все затихало. Она ему не обрадовалась – это Шут понял сразу, но все-таки пошел следом: из любопытства или озорства. Какая-то вся изломанная, костлявая, женщина до смешного напоминала клюку, если бы ту замотали в старые бесцветные тряпки. Он забавлялся, представляя, как деловито клацают ее шаги: клюк-клак, клюк-клак, – все не в такт, зато важно до смерти. Будто и впрямь не человек, а ходячая палка с гонором.

Вокруг на Клюку смотрели с опаской. Зябко поводили плечами, брали на тон ниже: веселясь ли, болтая, бранясь. Так и подмывало выкинуть какую-нибудь шутку: подхватить Клюку на руки, закружить или подставить подножку – хоть как-то вклинить, ослабить невидимый гнет. Но пока было слишком рано. Темп следовало прибавлять не торопясь.

Жила Клюка в местечке под стать. Окраина: глухая, тихая, даже не сонная – оцепенелая. Вместо дома – нелепый сарай, нагромождение собачьих клеток. Снаружи, откуда ни взгляни, мерзко, точно выставили напоказ больное тело с наростами; внутри, едва зайдешь, темно и затхло, даром что псиной не пахнет. Не человеческое жильё.

Бросить бы котомку под скамью да уйти, но Клюка все стояла рядом, дышала в спину, словно чего-то ждала. Шут потянулся, обошел комнату раз, другой, наконец рассмеялся про себя – вот же, совсем забыл, не догадался! – и выудил из поясной сумки

монету. Клюка быстро схватила ее, попробовала на вес, зачем-то понюхала, не сводя глаз с Шута, и облизнула губы. Потом проскрипела:

– Еда отдельно, – и все-таки убралась.

Монеты было не жаль, хотя, конечно, дом – навязанный, неприятный – ее не стоил. Ну и пусть. Сейчас любые заботы казались ерундой – мелким мусором, галькой на линии прибоа. Кто станет думать об этом, когда море идет сюда.

Шут размял плечи. Тело с непривычки ломило, двое суток в пути и сон урывками давали о себе знать. Лихорадочная, сбивчивая мелодия: ночь, день, опять ночь – все мельком. Разбуженная дорога маялась пролежнями-колеями, ворочалась, ворчала, в ушах звенело, а спешка не давала вздохнуть. От самых ворот рядом рыскало что-то голодное, мысли неслись по кругу: прочь, прочь, скорее – и не смотреть назад. Он вырвался, или, точнее, сбежал, только радость точили сомнения. Музыка не вела его и не звала на свое торжество.

Но и непрошеным – он явился вовремя. По крайней мере тот бедолага еще поковыляет по здешним улицам, среди звонной зыби, помычит, почмокает, помыкается с недоношенными звуками – и, может, в следующий раз не сломается, вытерпит до конца. Музыка – Шут помнил – бывала страшно горячей, особенно когда ни слух, ни голос, ни струна не разбивали ее, подобно волнорезам, не делали слышимой и выносимой. Тогда она будто бы не приходила извне, а захлестывала изнутри, заполняла грудь жидким светом. И хотелось плакать, смеяться, отталкиваться от земли – и тут же ползать по ней, корчиться, как если бы все грязное и стыдное оказывалось на виду, вытапливалось из костей, вскипало под кожей. Испарялось. Сгорало дотла. Стряхнуть прошлое, точно прах с ног, стать огненным, легким, летучим в этот миг было все равно что натянуть шитую по руке перчатку или после скитаний шемаще наново открывать родные места.

За стенкой что-то заскреблось, и Шут осторожно выглянул в коридор. Глаза привыкли к полутьме, но понять, что за тварь царапает половицу у дальней двери, получилось не сразу. Не то ярмарочная шавка в тряпье, не то ребенок, похожий на зверька. На ум пришла история, сочиненная для Барона: об ослином острове и недолюдях, бывших там вместо скотины. Спроси кто о детенышах образин, Шут описал бы их так.

Ребенок – все-таки ребенок – тоже заметил его и юркнул в какой-то проход. Тем лучше: задерживаться не хотелось. И без того уже этот дом прирос к спине пивкой: даже на улице спину холодила

Задерживаться не хотелось. И без того уже этот дом присосался пиявкой: даже на улице спину холодила липкая мерзость, не отпускала, не давала сосредоточиться, – хоть ищи теперь другой ночлег или спи под открытым небом. Но до вечера было далеко, воздух пах яблоками, и скоро неприятное чувство ушло.

липкая мерзость, не отпускала, не давала сосредоточиться, – хоть ищи теперь другой ночлег или спи под открытым небом. Но до вечера было далеко, воздух пах яблоками, и скоро неприятное чувство ушло. Только затылок еще покалывало – будто следил кто-то.

Город вокруг галдел – громко и глупо. Близкая музыка, лишние тени – о них говорили как о диковинке, трехногом циркаче или рыбе с чешуей из колец. Нелепые, вздорные толки: если прислушаться, настоящее чудо всегда звучало как последний аккорд. Правильно. Просто.

Так звучал новый свет. И о нем нужно было рассказать.

На углу возле маленькой лавки – дверь распахнута, на вывеске мак – стояла хорошенькая цветочница. Нетерпеливый носок туфли, красные ленты, подрагивающие уголки губ – вся точно скрипка: только и ждет сольной партии. С такой, даже если ее разбирает любопытство, надо заговаривать первым.

– Солнечно сегодня.

– Как и вчера. – Она недоуменно повела бровью и отвернулась, вскинув подбородок.

Шут зашел с другой стороны.

– Товар хорош?

Она рассмеялась:

– А тебе на что? Старуха глянет – все сгниет. Крысам нашим на корм.

– Старуха?

– После нее только в ящик. Но, смотри, не повторяй, тебе в ее доме жить.

Вот как, с клюкой он почти угадал. А слухи тут разлетаются быстро.

– Меня там никто не держит.

Она вдруг поскуичнела, посерела и сказала тускло:

– Вряд ли тебя кто другой пустит. Вот если б ты не один пришел...

– Ты о Бароне?

– А правда, у него целый оркестр? – Ее голос оживился. – Хоть бы одним глазком увидеть.

– Любишь музыку?

– Не знаю. Но это же, верно, так весело! Можно плясать до упаду.

– А хочешь, я тебе сыграю?

– А ты умеешь, что ли? – Она поджала губы и прищурилась.

Флейта сама легла в руку.

...У цветочницы были майские глаза, и вокруг, меж домами и облаками, пеной шипя на осенней желтизне, вскипала юная, смолисто-клейкая зелень. Тягучими, низкими нотами стекали по лиственному шороху капли апельсинов, а на тон выше дрожали трелями, реяли на ветру белые цветы. Мелодия сплеталась, как венок: василек, земляника, роза, лютик, ромашка – и пронзительный, прорастающий из нутра, готовый слететь с губ барвинок...

– Хватит!

Видение исчезло.

Цветочница вжалась в стену, смотрела испуганно. В волосах запутались разноцветные лепестки.

Невозможно.

– Что ты сделал?!

Правильно.

Она закашлялась, засмеялась, всхлипнула.

Просто.

– Нет, не бойся! – Шут, придя в себя, заглянул ей в глаза, дотронулся до запястья. – Все хорошо. Это просто... музыка.

– Откуда это взялось?! – Трясушимися пальцами она сняла с плеча длинный стебель, потеряла шею. – Почему я... это... будто водой окатили!

Он улыбнулся:

– Холодно и мокро?

– Не-ет... – Ее губы тоже дрогнули. – Но аж дыхание перехватывает.

Чуть помолчав, она вывернулась, отстранилась и сказала с расстановкой:

– Я поняла. Это все штуки, которыми ты Барона занимал. Верно?

Шут не ответил. Барабанное, оглушающее удивление сменила струнная радость: музыка, *его* музыка, должна была сбыться – и когда, если не сейчас. Теперь казалось, он давно это знал.

– Сыграть еще?

Цветочница кивнула и задержала вдох.

...Зазор был едва заметен, сквозняк, просвет, но, стоило потянуться к нему – не рукой, не взглядом, одним вниманием, – как заколыхались, пошли складками небо, и земля, и море, и все, что в них. Не вода, не воздух, не камень – только тканое покрывало, а под ним – вода, и воздух, и камень, но яснее и ярче, живей. Все – музыка. Все – хвала.

Так хотелось немедля отдернуть завесу, что пальцы сбились и прокралась фальшивая нота – тревога и резь в глазах. Пауза – пришлось отступить. Тогда, больше не пытаясь проникнуть за край, он осторожным звуком коснулся поверхности – и та откликнулась и смялась, как салфетка. Легко сложились новые фигуры: облако, мотылек, огнехвостая птица – все, что бы он ни представил, виданное и невиданное...

Шут играл, цветочница смеялась и ловила слетевшихся бражников. Вокруг собрался народ, и все слушали флейту и глазели на чудеса: сперва насупившись, потом – подзадоривая.

Шут играл, здесь, и где-то еще, и еще где-то, и город становился мягким, как тесто, и музыка месила его на новый лад.

Шут играл, пока сверху не хлестнуло холодными и частыми струями. Под дождем он вернулся в дом Ключи, доел остатки сыра из котомки, устроился на узкой скамье. Когда его уже почти сморило, в сон вдруг ворвался рокот и под полом, кажется, встрепенулась земля.

На следующий день опять прояснело. Непогода окупилась с лихвой: за ночь второе солнце приблизилось, разгорелось, и свет лился густой, ровно мед. Звуки в нем медлили и красовались, нет, раскрывались, как бутоны, – хочешь, трогай, хочешь, пробуй на вкус. Кислый, пахнущий яблоками скрип телеги. Золотистый, щекотный смех.

Иногда мелькали тени – или, может быть, эхо. Заезжайся – и скользнет рядом, накроет, крылом ли, хвостом, и сердце вдруг защежит, и вспомнится, как сквозь дыры в повозку забирались лучи, шупали мешковину, а на ухабах били по пяткам повешенной на раме марионетки – давным-давно, на первой беговой дороге, с горластыми и не знающими прошлого

комедиантами. Шут не хотел к этому возвращаться, не мог подхватить мотив – но тем сильнее ждал его разрешения. Остальные же в городе шарахались от таких теней, как от огня.

После полудня стало жарко, словно у большого костра. Шут, разомлев, лежал в траве на чьих-то задворках и жевал сухие стебли мятлика. За забором, щелистым и низким, уже третью соломинку шепелявили и переругивались, но он делал вид, будто не замечает. Игра кошки с мышкой: прикрой глаза, притворись задремавшим – и сквозь ресницы и неплотно пригнанные доски покажется любопытное веснушчатое лицо.

Дождавшись, когда невидимая возня перерастет в спор, Шут одним движением поднялся и перемахнул на другую сторону. Стайка детей лет восьми-девяти замерла, застигнутая врасплох: двое мальчишек растянулись на животе у забора, двое поодаль сидели на корточках, а единственная девчонка, явная заводила, чуть привстала с колен и раскрыла рот, не докончив фразы. Она заметно сердилась, и оборванное слово – «...сите» – свисало у нее из рта, точно струйка слюны.

Еще миг – и все пятеро вскочили и порскнули за угол, ни дать ни взять кролики или куропатки. Шут расхохотался: в голове будто хмель шумел. В ответ взвизгнули, и это тоже было смешно и хорошо. Почти так же хорошо, как видеть себя сейчас со стороны: героем из легенды, волшебником – большим, добрым и все-таки капельку страшным – в большом, добром и сказочно опасном мире. Хотелось приосаниться, вдохнуть полной грудью, и даже немного щипало в носу.

Из-за угла, нахохлившись и надув губы, осторожно высунулась девчонка. Зыркнула нахально, просеменила вперед, обернулась и поманила остальных. Тут же из ниоткуда вынырнули двое рыжих – на вид погодки, – выступил, отфыркиваясь и оправляясь, маленький чистюля, а за его спиной, не отставая, вертелся хлюпик с косящим взглядом и щербатой улыбкой.

На удивление, первым затараторил один из братьев – тот, что постарше:

– А вы можете, как вчера, ну, птицы, огни и все такое?

Пять пар глаз уставились на Шута с надеждой. Он ухмыльнулся:

– Вам, стало быть, понравилось?

Дети закивали.

– И чего бы вам хотелось теперь?

Мальчишки тут же выпалили наперебой:

– Огненный фонтан!

- Разноцветный!
- Желтую жужелицу!
- Пузырей, как от мыльного корня, только чтоб не лопались!

Девчонка помолчала, насупилась, шмыгнула носом и деловито спросила:

- А все сразу можете?

Такая прямога умиляла, и Шута снова разобрал смех.

- И зачем бы мне это делать?

Лица пятерки вытянулись, но чистюля быстро нашелся:

- А у меня монета есть.
- А у меня... – Младший брат подхватил было, но заппнулся, сморщился, сглотнул. Наконец решился и отодвинул ворот рубахи: – Вот.

На тонкой замыганной веревке у него на шее висел куриный бог: розово-серый, гладкий, с дырочкой аккурат посередине – наверняка предмет гордости и зависти. А рядом, пониже ключицы, темнела россыпь синяков.

Шут нахмурился. Мальчишка понял это по-своему, снял оберег и протянул на раскрытой ладони.

- Не нужно. – Шут остановил его и показал на синяки: – Откуда это?

Пока тот с облегчением надевал веревку обратно, девчонка ответила за него:

- Да это их папаша, как выпьет, руки распускает почем зря.

Братья дружно вскинулись:

- Оставь, он хороший! Это все Старуха виновата. Он после второй ссуды таким стал.
- И с часами, скажете, она подстроила?
- А кто ее знает, может, и так! Но уж мы-то ей не спустим. – Тут они переглянулись и смущенно замолчали.

Шут вспомнил гнет, который чувствовал рядом с Ключкой, и проговорил вкрадчиво и серьезно:

- И на вашу Старуху управа найдется.
- Я слышал, – влез вдруг хлюпик, – што она подмениш. Как в детстве в лешу жаплутала, так и вще, другая вернулашь. И ш тех пор...
- Да, точно! – перебил чистюля. – И отродье, что с ней живет, тоже из этих.

Девчонка пожала плечами и хмыкнула:

- Ерунда какая. Все знают, что Выкормыш – сын старого ростовщика и крысиной королевы.

Пока они спорили, погодки подскочили к Шуту и теперь дергали его за рукава:

- Но вы нам сыграете, да? И фокусы, как в тот раз, покажете?
- Сыграю.

Он достал флейту, но, помедлив, так и не поднес ее к губам. Повернулся к девчонке:

- Так значит, с Ключ... со Старухой пасынок живет? Мелкий такой, грязный, диковатый?

– Ну да. – Девчонке явно польстило, что обратились к ней. – Старухин выкормыш. Мне как-то щеку поцарапал, так с месяц заживало. Тот еще крысеныш, одним словом, чтоб всем этим тварям пусто было.

По ее глазам, нарочито невинным, стало ясно, что царапался он неспроста, и Шута кольнула брезгливая жалость. Звереныш – и то правда. Он как будто мелькал вчера в толпе, крался по пятам от самого дома – на краю зрения, по краю мыслей, – но близко не подходил и в памяти не задерживался. Вот и хорошо: играть перед таким было бы то же самое, что перед свиньей или Бароном, – все равно как пытаться петь во весь голос, уткнувшись в мягкий, трепыхающийся живот. С глухими – и теми проще.

Вдобавок эти крысы... Их вроде поминала цветочница, да и сам Шут приметил хвост-другой. Но подумать не получилось: дети ждали. Переминались с ноги на ногу, подпрыгивали от нетерпения – обычные, озорные, отзывчивые дети. И рядом с ними мелодия возникала сама собой.

...И в каждом дремала искра – колокольчик ли, бубенец. И грудь распахивалась навстречу зову, как ветхий плащ, и ветер раздувал пламя, разводил трезвон. Хором вспыхивали глгучие языки, сливались в огненный фонтан, струи скручивались, взлетали к небу – третьим, четвертым, несчетным солнцем, и пели на разные голоса, и танцевали, и выстраивались вокруг самого большого – того, что было первым и явилось вторым.

А внизу дрожала глина, необоженная, податливая. Тени от всполохов плясали на ней, рождали смутные образы: сад с перекрестьем веток, жужелица, скрестившая лапки, темный холм и равнины окрест. Глина охала, сминалась, повинуюсь флейте; тоном выше – вылепишь тонкое: пузыри, перья, порей; тоном ниже – просыплешь шорохи, как зерно, и за ним – с перебором, крысыим топотом пальцев, – потянутся морды, усы и хвосты. Лови их, гони, со свистом и писком, по склону, до всплеска, до чавка – вниз. Глина в глину.

Но вдруг – будто воздуха не хватило на фразу – в серой лавине мигнул и погас желтый блик. Запертый звук. Безымянный. Сколько ни играй – не пробиться: лепкое становились липким, наваливалось слепо, отказывалось размыкаться и отпускать. С досады хотелось надавить сильнее, громче, хотелось взметнуть, взрезать, взгреть, и...

Уши заложило от визга. Шут вздрогнул, выронил флейту, сморгнул.

В пяти шагах, возле кучи сухих листьев, катался в пыли и верещал ребенок – нет, кажется, Выкормыш. Спустя миг завопили и пятеро новых знакомых, и какая-то женщина, вышедшая из дома напротив. Перед глазами, как после долгого взгляда на солнце, плавали цветные пятна, и сперва Шут не понял, куда все смотрят, ему только почудилось, будто вдоль улицы, вниз по холму, стекают серые мохнатые ручейки. Растерянный, он наклонился за флейтой – и тут же пошатнулся, отдернул руку. Из-под ног выскочили и бросились прочь две толстые облезлые крысы.

Скоро, похоже, весь город захлопал дверями, заголосил.

- Смотри, смотри, еще! Так и прут, проклятые!
- Они же все сожрут!
- Дура, они уходят! Уходят!
- Не к добру...
- По ногам, по ногам лезут! Ай!
- Дайте им пройти!

Ручейки тем временем превратились в сплошной поток, и флейта канула в него без следа. Крысы бежали быстро, сосредоточенно, не толкаясь и не толпясь, точно были одним существом. Выкормыш, теперь уже просто поскуливающий, лежал у них на пути, и они карабкались прямо на него, цеплялись за волосы и одежду, сыпались обратно на землю. Вдруг подумалось, что мальчишка-то завизжал первым – но, видно, не из-за крыс, ведь сейчас он даже не пытался встать или отряхнуться. Не выдержав, Шут подавил тошноту, ступил в крысиную реку и поднял его за шиворот. Самых настырных тварей пришлось отшвырнуть за хвосты.

Скоро исход иссяк. В свою очередь улицу запрудили люди: бросившие дела, напуганные, перекрикивающие друг друга. Кто-то пустил слух, что крысы дошли до озера за городской чертой и там утопились. Кто-то вспомнил о тонущих кораблях. Ему возразили, что мы-де, к счастью, на суше, а этим прозорливым гадам туда и дорога. И тут девчонка схватила Шута за локоть и по-детски звонко заявила:

- Это он их прогнал!

На них обернулись. Шут так и не выпустил Выкормыш, и тот под чужими взглядами задергался, завертелся, исхитрился цапнуть его за кисть и дал деру. Чистюля хотел подставить подножку, но опоздал и только плюнул вслед:

- И ты уходи, крысенш!

А девчонка настаивала:

- Это он, он! Мы рассказали про Старуху и про крысенюша, мы попросили сыграть. И музыка была как солнце, а потом как зерно.

- Да, и я видел!

- И я!

Погодки появились откуда-то из-за спины, и младший довольно протянул Шуту флейту:

- Вот, я подобрал.

Тут же вернулись задор, и легкость, и хмель. И мелодия, родившаяся из детской болтовни, но прозвучавшая так властно, наполнила голос силой:

- Да, это я их прогнал.

По голле ветром пронесся шепоток. Недоверчивый – возбужденный – трепетный. От свистящего: фокусы, все фокусы, – до гудящего, колокольного: колдун. Шут по наитию вскинул руку с флейтой и, когда все смолкли, заговорил:

- Нет, я солгал вам, это не я увел крыс, это музыка! Один ее отзвук защитил ваши дома и запасы.

Через день она явится во всей полноте, и поэтому я пришел сюда: услышать, увидеть. Не бойтесь того, что кажется вам странным: когда готовят праздник, режут розы и топят сахар – но это будущие гирлянды и леденцы.

Поднялся одобрителный гул.

- Музыка, о которой я говорю, – это не зов свирели и не звон струны. Вернее, не только они. Вы можете слышать ее, когда любуетесь закатом, когда учитесь тачать сапоги и открываете закон движения звезд, когда прощаете или просите прощения. Такой музыке не нужны инструменты, они нужны нам – как подпорки для слуха.

Гул стал недоуменным.

- Музыка – это солнце, и без ее тепла и света нельзя жить. Так слушайте, играйте и пойте, потому что солнце наконец вышло из-за облаков!
- Врешь.

Народ расступился. К Шуту, за ухо таща Выкормыш, приблизилась Клюка.

- Все это глупости и разор. Пожар, а не солнце. Вот и мальчишке моему больно сделал. У нас такого не любят. – Фразы она роняла скупно и в паузах будто к чему-то прислушивалась.

- Ему сейчас больно.

- А это чтобы знал, куда не лезть.

Шут поморщился и в упор посмотрел на Клюку. От всего ее облика веяло чем-то мертвым, закаменным. Точь-в-точь статуя, затянута паутиной, лишь губы двигались – паук сплетал нить.

- Уходите.

Это вырвалось само, не просьба – приказ, и на миг Шута покорило: слишком похоже на гадкие слова чистюли. Но он все же повторил:

– Уходите. Скоро здесь все будет иначе, уже – иначе.

Клюка не ответила. Постояла еще немного, скользнула взглядом по братьям, так и жмущимся позади, повернулась – и действительно ушла. Вместе с Выкорышем.

Вокруг пораженно молчали. Потом наоборот – разом загалдели, засуетились и вытолкнули вперед маленького седого человечка. На груди у него свернулась двумя кольцами бургомистерская цепь, а сам он выпучил глаза и склонил ухо к плечу, словно старался разобрать ее шипение. Бургомистр хлопнул Шута по спине и сказал весело:

– Мы нарежем розы и натопим сахар, будем играть и петь! В нашем городе больше нет... – он запнулся, – нет крыс, и мы должны праздновать!

И они праздновали. Было мясо и вино, цветы и ленты, танцы и драки, рукава, подола, осколки, огрызки, смех, крик – и небо, полное золота и звона небо. Шута подхватила дурманная круговерть: он пил бокал за бокалом, хохотал, рассказывал о музыке, целовал цветочницу – ту, которой играл вчера, а может, другую. В одно мгновение земля заворчала и ушла из-под ног, и крутившиеся рядом дети – только погодки куда-то пропали – наперебой объясняли:

– Это наш великан просыпается!

Когда на ратуше пробило полдень, солнце, которое видели все, уже закатывалось за горизонт, зато второе сияло прямо над головой. Шут вспомнил, что его котомка так и лежит в доме Клюки и, хотя ничего нужного там не оставалось, решил вернуться. Он чувствовал себя счастливым и всемогущим, почти бессмертным, и по дороге, не замедляя шага, подставлял лицо новому свету.

У Клюки в окне горели свечи, но на шум она не откликнулась и выгонять Шута не стала. Тогда он позволил усталости пропитать тело, завалился на скамью и уснул.

Ночью ему снился замок. Коридоры, бессмысленные и бесчисленные, как ходы жука-древоточца. По ним сновали знакомые слуги, заканчивали вечернюю работу: таскали воду на кухню, захлопывали ставни. Из спальни доносился храп Барона – все шло как обычно.

Шут подумал о замковых воротах – и мгновенно оказался перед ними. Створки стояли распахнутыми настезь, но там, где раньше открывался вид на поля, теперь застила взор ослепительная белизна. Как будто мир сжался до размеров замка – только

Шут сейчас точно знал, что все наоборот: это за крепостной стеной начинался мир, а здесь царил пустота.

Стоило назвать ее, хотя бы и в уме, как он ощутил на себе голодное внимание. Вокруг ощерились и вздулись сотни полостей: сколы и выщербины, брошенные конюшни, арки, проходы и комнаты, а в них – рты, носы, животы. Пустота была в каждой вещи, в каждом человеке – даже в нем, в Шуте. И пустота хотела есть – или быть.

Он попытался выйти за ворота, но не смог: не пускала невидимая преграда. Пронзила мысль, что она тут давно – оттого и кони под Бароном всегда упрямылись, сколько их ни хлестали, – и вот, окрепла настолько, что теперь все как в ловушке. По спине пробежал холодок, но Шут вовремя вспомнил, что спит.

От облегчения захотелось рассмеяться. Вместо этого он, радуясь, как мальчишка, обнаруживший, что умеет плавать, несколько раз прошел через стену: в караульную и обратно, и снова – туда-сюда. Стражники смотрели сквозь него, и он не удержался от того, чтобы щелкнуть одного из них по лбу.

Небо между тем стало светлее. Нет, становилось светлее – так же быстро, как разгорается сухой валежник. Это заметили: те, кто еще был на ногах, бросили дела и кружили по двору выкуренными из улья пчелами. Шут прислушался к их жужжанию – отсекая лишнее, вычлняя темы, – и сердце забилося чаще, едва он разобрал настойчивый мотив: жжение.

Тотчас его зрение изменилось, как бывало, когда он играл на флейте. Он увидел, что небо похоже на расколотое яйцо, и солнце растекается, как желток, жидкий и вязкий огонь, и капли его падают вниз, и от них занимается пламя. Летят искры, люди чуют гарь, шарахаются, разбегаются, но в груди каждого – вечно пьяного казначея, судомойки с толстыми щиколотками, прыщавого герольда – уже трепещет робкий огонек. Музыка пришла: позвать, вывести, разрушить все преграды.

Он так долго этого ждал, здесь, среди каменной глухоты, что сперва задохнулся от восторга. Но затем охолонул, смутился: что-то было не так. Музыка не звучала – там, где никто не желал слышать, она и не могла прозвучать. Она явилась необлаченная, и чистый свет жег тех, кто к нему не привык. Шут потянулся за флейтой – он должен помочь, сыграть, – но снова, на этот раз с ужасом, вспомнил, что просто спит.

Крича и хватая за руки всех встречных, он кинулся в замок, хотя никто не обращал на него внимания и пальцы его, не касаясь, проходили через

их плоть. Вокруг и внутри каждого бушевал невиданный и невидимый пожар, от которого некуда было деться. Кто-то разрывал на себе одежду и ногтями раздирал тело, кто-то по-собачьи полз на четвереньках и выл. А рядом по-прежнему стерегла пустота. Шут смотрел, как люди бросаются к ней – в окна и лестничные пролеты, в отчаяние и ненависть, – сдаются со всеми потрохами, и музыка, скорбя, принимает их выбор, освобождает, отпускает в ничто. А пустота лопает, сколько дают, и чавкает, и растет.

Он сам не заметил, как очутился у спальни Барона. Из-под двери доносилось урчание и хлюпанье, словно кто-то обгладывал и обсасывал куриную косточку. Шут заставил себя войти и сразу пожалел об этом: комната превратилась в подобие гнезда, свитого из обломков и обрывков, а прямо в середине восседал птенец – то, что раньше звалось Бароном. В нем всегда обильно текла жизнь, пусть и звериная, слепая, и пустота не заглотила такую добычу целиком, но выела изнутри и нацепила как платье с кое-где торчащей красной подкладкой. Глазами Барона – теперь у нее имелись глаза – пустота взглянула на Шута, так, будто наверняка знала, что он здесь. Он попятился, споткнулся, упал – и тут перед ним щитом вспыхнул огонь. Музыка пришла спасти, но страшнее спасения не было вещи на свете, и Шут, испуганный, терзаемый виной, спрятал лицо.

Он проснулся в холодном поту, дрожа так, что лязгали зубы. И тогда музыка оставила его.

5.

Чем румянее яблоко, тем отвратительнее оно гниет, и чем вкуснее варенье, тем опаснее его порча. Едва потянет миндалем или сладость вишни разбавит горчинка от косточек – перестояло, все труды насмарку. И съесть нельзя, и выбросить жалко – ходи да облизывайся, да сетуй, что времени тебе не поворотить.

Старуху не покидало чувство, что она опаздывает. Когда слушает сбивчивые рассказы о цветах и птицах, под звуки флейты возникающих прямо из воздуха, когда шугает и давит лезущих под ноги крыс, а после топчется среди зевак на обочине, когда спускает пришлецу его нахальство, когда прогоняет от дома крылатые тени, даже когда говорит с часовщиком. Непредвиденное навалилось на нее скопом, жалило со всех сторон, раздергивало. Старухе только и оставалось, что по ночам напрасно тратить свечи, назло непонятно кому пренебрегая светом, который светит во тьме.

В первый же день она поняла, что о втором солнце лучше помалкивать: кроме нее, никто его не видел, разве что в сумерках некоторые начинали щуриться ни с того ни с сего. Конечно, был еще этот шут – хотя, поинтересуйся кто у Старухи, она назвала бы его настоящим дураком, – но не открывничать же с тем, кто слушает только ветер и вообще ведет себя как человек, прыгнувший со скалы и принимающий падение за полет.

Зато, сам того не зная, ей неожиданно помог скорняк, известный любитель небылиц. Легенду о великане он с вечера в собрании вытвердил наизусть и так всем надоел, что в конце концов даже Старуха обратила на него внимание – и теперь, когда началась свистопляска, ухватила за слова зачина: «...небо ласкало море жаром двух солнц». Объяснять это ничего не объясняло, но ей казалось, будто она разоблачила многолетний обман.

Этим утром, толком и не ложившись, продремав на стуле едва ли с час, Старуха подскочила от мысли, что все проспала. На самом деле едва рассвело – по-честному рассвело, без всяких там чудес, хотя горизонт тлел куда ни кинь взгляд, словно далекий огонь брал город в кольцо. Старуха постояла на крыльце, подозрительно осматриваясь, прислушиваясь и приняхиваясь, потом вернулась в комнату и попыталась съесть ломоть хлеба, но кусок не лез в горло. Отчего-то у нее сильно зачесалась ладонь, и, чтобы отвлечься, она принялась мерить шагами коридор, несколько раз останавливалась у двери шута и прикладывала к ней ухо.

Дом тоже страдал от зуда: стены мелко дрожали, и тихий скрип напоминал не то повизгивание, не то хихиканье. Должно быть, частые подземные толчки за последнее время расщекотали ему брюхо и расшатали остов: пол теперь кое-где опасно проседал, а наружные клетушки все перекособочились, будто их ломали изнутри. Двери также закрывались неплотно, и Старуха, не удержавшись, прикила к щели. Но ничего интересного ей подглядеть не удалось: шут скорчился на скамье спиной ко входу, втянул голову в плечи и поджал колени – наверное, мерз, пока спал. Котомки видно не было, она валялась в другом углу – Старуха помнила. Тут ладонь у нее засвербела совсем нестерпимо, пальцы сами вцепились в ручку...

– Горячо.

Старуха подпрыгнула от неожиданности.

Выкормыш подкрался ближе, уставился на нее не мигая.

– Фу ты, напугал. Чего тебе?

Он ткнул себя в грудь и повторил:

– Горячо.
Потом показал на дверь:

– Дудка.
Старуха снисходительно потрепала его по волосам, сморщилась, нащупав колтун с запутавшейся в нем веткой.

– Не бойся, больше я не дам ему играть.
Выкормыш мотнул головой, окрысился:

– Горячо. Дудка.

– Чего заладил одно и то же! – Ее вдруг охватило раздражение. – Хлеб-то небось уже подъял без спросу.

Странная требовательная гримаса исчезла с его лица, взгляд сделался сторожким, как у полуголодного зверька, крылья носа затрепетали, и Выкормыш тенью скользнул куда-то вглубь дома – отыскивать еду. Старуха только хмыкнула ему вслед.

Постояв еще немного в коридоре – не проснется ли шут, не послышится ли чего, – она опять вышла на улицу. До восхода второго солнца, по ее подсчетам, оставалось несколько часов, если, конечно, оно подчинялось хоть каким-нибудь правилам, и к этому времени все должно было разрешиться. Старуха злорадно и опасливо посмотрела на небо; наверное, за прошедшие два дня она поднимала к нему глаза чаще, чем за всю остальную жизнь.

Ждать однако ей пришлось долго. Налетел и утих ветер, двенадцать муравьев обогнули камень, похожий на лягушку, на перилах лестницы, перебирая лапками, повис паук. Все двигалось, металось, без указа и без порядка, и Старуха сцепила пальцы в замок, чтобы подавить желание скрести ладонь или барабанить по бедру.

Наконец на дороге показались люди. Приближались торопливо – так ходят, когда мысленно уже у цели, досадуя на медлительность ног. Впереди вышагивал бургомистр: после вчерашнего он как будто распрямился и стал чуточку выше – Старуха даже взгляделась, не привстает ли он специально на цыпочки. Впрочем, это бы не помогло: глава только на словах, бургомистр во всем городе слыл битой балаганной куклой, а сейчас, когда еще издали напустил на себя важный вид, и вовсе разительно напоминал крашенный чурбан. Следом, таща за руку сына, едва попевал часовщик – этот понимал куда больше, но, хоть и не потрудился сменить кислую мину на озабоченную, проблем не предвещал. Поэтому, мельком приметив судебного стража и десяток увязавшихся зрителей, Старуха сосредоточилась на мальчишке. В кои-то веки без брата – ополовиненный, зареванный, с красными щеками, – он был непредсказуем, как загнанная

в угол крыса. Хорошо, что Старуха умела заставить крыс цепенеть.

Бургомистр остановился прямо у крыльца, шевельнулся, чтобы подняться на первую ступень, но в последний миг передумал и остался внизу. В горле у него забулькало: слова тоже мешкали, толкались, и ни одно не пробилось наружу. Старуха выждала немного – пока подтянутся отставшие, да и так, для острастки, – и решила помочь:

– Что вам надо?

Мальчишка возмущенно засопел, и она зыркнула на него – осаждая, пригвозждая к земле. Часовщик покосился на сына и крепче сжал его запястье, так что тот резко втянул воздух сквозь зубы.

– Нам бы... с постояльцем вашим переговорить, – промямлил бургомистр. – Тут такое дело...

– Младшенький-то у мастера пропал! – выкрикнул кто-то.

Это придало бургомистру сил, и, подав знак стражу, он одолел половину лестницы.

– А ну, посторонитесь!

Старуха смерила его взглядом и сказала с издевкой:

– Не больно-то серьезен вопрос, чтобы ваше превосходительство сами беспокоились... – Она, конечно, знала, что любой вопрос, хоть как-то связанный с ней, а уж тем более с ней и чужаком сразу, будоражит всех. Знала и рассчитывала на это. – Но что уж, проходите.

И приглашающе распахнула дверь.

Бургомистр, а чуть погодя и страж зашли внутрь, остальные прянули было за ними, но тут же отхлынули, как волна.

– Сюда тащите! – Чей-то неугомонный голос сочился любопытством, и сейчас это играло Старухе на руку.

В узком коридоре, точно пар в бане, сгустились чужие запахи: кислая капуста, застарелое нездоровье, железо, дым – и выдержанный, забродивший, похожий на простоквашу страх. Комната тоже мгновенно наполнилась духотой и шумом – топотом, скрипом, покашливанием, – но шут даже не повернул головы. Бургомистр несколько раз окликнул его, потом тронул за плечо, потряс. Шут вздрогнул и как-то неловко, боком сел.

– Вы должны нам кое-что объяснить.

Молчание.

– Пропал мальчик. Его отец и брат утверждают, он ушел с вами.

В полутьме Старухе показалось, что шут чересчур внимательно смотрит на губы говорящего.

– Мы хотим знать, что случилось.

По-прежнему ни слова.

– Да скажите же что-нибудь! – Бургомистр отступил назад, всплеснув руками, споткнулся обо что-то и чуть не упал. – Проклятие, здесь ничего не видно! Идемте на улицу.

Страж сграбастал шута под мышки и почти поволок за собой. Старуха задержалась, чтобы подождать котомку.

Пока они были внутри, толпа успела разрастись, и гомон стоял до небес – так могли бы реветь, верещать, гоготать и вопить животные, разъяренные и напуганные тем, что их детенышам грозит опасность. Все звенящее, тонкое, хрупкое, что вчера носилось в воздухе – радость ли, чаяние ли чуда, признательность, – под таким напором растаяло без следа.

Бургомистерская цепь сверкала на солнце, а сам он явно наслаждался ролью судьи, задавал вопросы уверенно, будто кто-то подсказывал ему.

– Когда вы вернулись с праздника?

Шут привалился к косяку, растерянный, жмурящийся, и не раскрывал рта. Вместо него ответила Старуха:

– Только под утро. Я сплю чутко, да и он не тайлся. Вокруг заволновались:

– А ушел на закате!

– Где вы провели ночь? Куда делся ребенок?

Перестав изображать вытасенного на свет кро-та, шут снова напряженно вглядывался в лица, вот только головой вертел невпопад, как если бы не понимал, кто сейчас говорит. Старуха не сводила с него глаз, но эта странная неловкость, беспомощность, смятение не забавляли ее: она готовилась к спору, почти к войне, и внезапная слабость противника выбила ей почву из-под ног. Так чувствовал бы себя человек, обнаруживший, что распинался перед огородным чучелом.

С непонятным Старуха боролась просто – гнула свою линию до конца, так что теперь с ожесточением, едва не порвав, развязала котомку и вытряхнула из нее все прямо на ступени. Мятое тряпье с налипшими крошками вывалилось жалко и нелепо, вздохнуло, глотнув ветра, и опало комом, точно пристыженное. Шут дернулся, но увесистая рука стража легла ему на плечо.

Часовщик в это время подался вперед и вбок, неожиданно юрко просунулся между балясинами и выудил из кучи тряпок веревку, на которой болтался небольшой плоский камень с дырой.

– Это моего младшего! Никогда не снимал! – Он обернулся к толпе и потряс оберегом над головой.

Бургомистр, ободренный, подхватил:

– Отпираться бессмысленно! Мы уже прочесываем окрестности, но, если вы скажете, где мальчик, всем будет лучше.

Старуха слишком поздно поняла, что допустила ошибку: пока она разгадывала новые чудачества, горе-актер часовщик увлекся ролью и прозевал сына. Мальчишка, едва освободился из отцовской хватки, бросился к шуту и повис на его рукаве, пытаясь не то защитить, не то наоборот – спрятаться. Всхлипнул, но не разнюнился, а закричал:

– Это все не так! – и только в конце пустил петуха.

– А ну... – начал часовщик, но его перебили:

– Нет уж, пусть рассказывает!

– Да, пускай! Они с братом не разлей вода, где один, там и другой, кому и знать-то...

Старуха поймала взгляд мальчишки и прищурилась, напоминая о вчерашнем уговоре: о двух ссудах, которые она согласилась простить, и о брошенном камне, за который не взяла ни монеты, – потом кивнула и велела:

– Рассказывай.

Мальчишка подрастерял пыл: с глупым видом открыл рот, выдал что-то нечленораздельное, закусил губу. Вдруг его лицо просветлело:

– Ты же говорил... управа... – Он задрал голову и смотрел на шута с мольбой и надеждой. – Ты говорил же...

Старуха замерла. Она чувствовала: все висит на волоске и ничего больше нельзя сделать. Издай шут хотя бы звук, скажи хоть одно слово – ему поверят, потому что ему хотят верить.

Но он молчал. И прятал глаза.

Наконец мальчишка отступил, обескураженный и подавленный. Бургомистр попытался загородить ему путь:

– Так что все-таки произошло? – но ответил часовщик:

– Мы все уже сказали, ваше превосходительство. Увел он моего младшего с праздника, фокусами сманил, да так больше мы его и не видели.

Ропот нарастал, как рокот под землей. Случайное сборище, ленивую, праздную россыпь, гнев и страх превращали в лавину, и Старухе оставалось только вовремя столкнуть последние камни, чтобы направить обвал в нужное русло.

Дальше все шло как по писаному: никто не запоздал и не пропустил свой выход. Пока возле дома распаялись и спорили, с боковой улочки явился, с трудом отдыхиваясь, алея от жара и лоснясь от испарины, расторопный паренек, служащий то там, то тут на посылках. Запыхался он до того, что двух слов не мог связать и повторял только:

– Нашли... Нашли...

В конце концов из него вытянули подробности. Младший сын часовщика обнаружился в лодочном сарае, возле проточного озера, где недавно утопились крысы, – в зарослях рогоза у берега запутались набухшие серо-коричневые тельца – все равно что срезанные початки. Мальчишку заперли на амбарный замок, а прежде, видно, чем-то опоили: когда его вытащили из кучи пеньковой пакли, он даже не проснулся до конца, бормотал что-то, чмокая и пуская пузыри, и все норовил завалиться на бок, а запах смолы, с весны пропитавший сарай, мешался с вонью от рвоты (тут часовщик встревожился по-настоящему и сжал кулаки). Впрочем, лекарь после осмотра сказал, что беспокоиться не о чем: не считая пары блеклых синяков, мальчик цел, пусть теперь только отоспится.

Рассказчика постоянно перебивали, зато, стоило ему закончить, как все будто языки проглотили. Старуха покосилась на одного, на другого, прочистила горло – в нем вдруг запершило так, что слезы наворачивались, – и наконец просипела:

– Мы не можем... спустить это с рук. Так ведь, господин бургомистр?

Тот кивнул:

– Да-да, конечно...

– Но, думаю, не надо наказывать нашего гостя слишком сильно. Ведь это не совсем его вина.

Кажется, сделалось еще тише, и на нее воззрились как на болтающую рыбу.

– Разве не он сказал, что это музыка увела крыс? Разве не один ее отзвук приворожил наших детей? Уже завтра она грянет и оглушит нас всех, но пока мы еще способны слышать и видеть. Нам *следует* бояться странностей, не то на чужой праздник мы попадем как кур в ошип.

Поднялся одобрителный гул.

– Эта музыка не желает звучать в положенное время и в отведенном месте. Она подстерегает нас, когда мы витаем в облаках, когда забываем о бремени и долге, когда готовы отбросить осторожность и расчет. Да, ей не нужна скрипка, вместо струн она вытянет нам все жилы.

Гул стал недоуменным.

– Музыка – это факел, зажженный для мотыльков, и одни глупцы летят на ее свет. Так давайте завяжем глаза и заткнем уши, а завтра не покажем и носа из наших домов!

Старуха перевела дыхание и посмотрела на шута: против воли она ждала, нет – хотела, чтобы он возразил. Но он лишь глянул на нее, точно ударил: резко, с оттяжкой, дрогнув всем телом от ненависти.

Это было настолько неправильно, что Старуха отшатнулась и вместо того, чтобы приказать стражу, попросила:

– Заберите, пожалуйста, флейту.

Тот тряхнул шута за воротник:

– Давай сюда.

Шут напрягся, глаза его забегали, но он как будто никак не мог взять в толк, чего от него добиваются. И тут Старуху осенило:

– Да он же не слышит! Он оглох!

Толпа отпрянула, как от прокаженного. Заламывая руки, соскочил с крыльца и заблеял бургомистр:

– Мы завяжем глаза и заткнем уши, будем сидеть по домам... В нашем городе больше никакой музыки...

Старуха отмахнулась. Подойдя к шуту вплотную, она дернула его за мочку, повторила чеканно:

– О-глох.

И после расхохоталась.

Наверное, он прочел-таки по губам, потому что растерянность и непонимание на его лице, в которое Старуха только теперь взгляделась (и вовсе даже заурадная рожа, а казалось-то, казалось: выскерк, порыв, шквал), сменила злоба, тоже заурадная, не раз надувавшая щеки просителей и должников. Такую злобу всегда щедро разбавлял страх, а где страх – там слабость, так что Старуха легко предупредила движение шута – ударить он собирался или просто оттолкнуть? – и запустила руку ему за пазуху. Флейта сама легла в ладонь, и в этот миг зуд, донимавший Старуху все утро, надоевший ей хуже зубной боли, прекратился.

Она отошла в сторону, чувствуя одновременно удовлетворение, усталость и почему-то тошноту, как при виде раздавленного телегой голубя. Шута между тем самые смелые и прыткие уже стащили с лестницы и вытолкнули на дорогу. Старуха не сомневалась, что его будут гнать тычками и пинками – так, чтобы и глухой сообразил, – до городских стен и после вышвырнут за ворота, но это не было победой. С горизонта, вобрав в себя разлитый по небу огонь, невозмутимо и нагло паялилось огромное, как гора, второе солнце.

В дом тоже проникали лучи. В угловой комнате с так и не заделанным окном они протянулись поперек прохода желтыми струнами, даром что не звенели. Старуха бочком протиснулась к столу, села и положила перед собой флейту. Кусок дерева, похожий на шестиротую глотку, вел себя смиренно, но рядом с ним Старуху не покидало ощущение чужого присутствия, настырного взгляда, и она упрямо смотрела в ответ, на скол возле одного из отверстий, хотя голова у нее шла кругом, и комна-

та кружилась, и теплый воздух дрожал и сгущался, сворачивался, забивая нос и уши комками слипшихся запахов-звуков, и грудь наполнялась душистой – мята, чабрец, розмарин – тишиной, которая шум превращала в ритм и рождала вздох, или крик, или песню... Старуха уже разомкнула губы, но тут горло ей сдавило, точно петлей, и вместо напева, вместо хотя бы свиста вырвался только сухой, шершавый кашель.

Отдышавшись, она засунула флейту в набитый рваньем сундук и толкнула дверь в каморку напротив – там провел последние ночи шут, – да так и остановилась на пороге. Не считая этого странного приступа, все складывалось даже чересчур хорошо: денег было жаль, но без двух списанных долгов часовщик никогда бы не согласился опоить сына и оговорить пришлеца. Конечно, проведай Старуха о глухоте заранее, еще поторговалась бы, но покоя ей не давало другое. Задуманное получилось слишком просто: сама она так легко сдавалась, лишь когда готовила дураку ловушку, и теперь в свой черед опасалась в погоне за приманкой упустить ловца. Музыка – а Старуха тоже могла кое-что порассказать о том, что шут звал музыкой, – не знала меры: являлась, когда не ждали, чтобы собрать то, что не рассыпала, – а значит, следовало быть начеку.

Она отступила в коридор и как можно плотнее закрыла за собой дверь. Вернулась в комнату с сундуком – и вовремя: в нем уже рылся – когда только успел проскочить! – Выкормыш. Турнув его и выслушав навязшее в зубах «Горячо! Дудка!», Старуха перепрятала флейту в тайник под половицей и вышла из дома. Ее подмывало куда-то бежать, что-то делать, и снова казалось, что она безнадежно опаздывает.

Дорога вела вверх, улицы ветвились, и Старуха не брела – карабкалась: развилка, другая – и вдруг земля ухнула, закачалась, стряхивая ее, точно сухой лист. Она упала на колени, вцепилась в пучок хухлой травы и выдернула его с корнем, от второго толчка повалилась на живот, заскребла ногтями по колее, выворачивая мелкие камешки. Губы ей облепила пыль, в носу шекотало так, что вот-вот чихнешь, а рядом кто-то кричал, и катились, прыгали, стучали, чмокали гнилыми боками рассыпавшиеся яблоки. Одно ткнулось Старухе в плечо, и, отбрасывая его, она перемазала пальцы в липком пахучем соке.

Все закончилось так же резко, как началось, будто и впрямь великан-под-холмом всхрапнул, раздувая ноздри, и опять задышал ровно и тихо. Зато всполошился город: до этой безумной недели

его не колотило настолько сильно, что всегда надежная твердь зыбилась и ходила ходуном. Где-то ржали и били копытами лошади, квохтали куры, а из-за поворота тянуло горелым и доносилось отчаянное: «Еще воды! Ну шевелитесь же, гады!» Старуха поднялась, отряхнулась – на перепачканную ладонь только налипло больше грязи – и, подволакивая ногу, заковыляла в другую сторону. За эту боль, и испуг, и беспомощность ей нестерпимо хотелось сорвать на ком-нибудь злость.

Случай скоро представился. На пустыре от сгоревших прошлой весной домов – поговаривали, хозяин одного сам свой и поджег, не то из-за долгов, не то подвыпив, поэтому пожарище теперь считалось дурным местом, – Старуха увидела знакомую фигуру в лохмотьях. Глухонемого побирушку, похоже, взбрыкнувшая земля не волновала вовсе: он притаился у обломанной балки, которую вычернил огонь и оплел зеленью вездесущий вьюнок, и кого-то выслеживал. Старуха, не церемонясь, сзади ухватила его за волосы и развернула к себе – тот обиженно замычал. Она уже раздумывала, какую бы штуку заставить его вытворить, чтобы и погнусней, и позабавней, когда случайно наткнулась на знакомый взгляд: ищущий, требовательный. Так сегодня смотрел Выкормыш – «Горячо! Дудка!» – и так, конечно, не мог смотреть вечно подобострастный, бесстыжий, скользкий и стертый, как обмылок, побирушка. Не мог – но смотрел.

Пока она мешкала, он высвободился, уклонился и в два прыжка оказался у нее за спиной. Старуха обернулась – и лишь тогда поняла, за кем, или чем, он следил. По плешивым зарослям кипрея, мимо забывающего о себе самом пепелища плыла большая непарная тень, на этот раз не змеерыба, а скорее птица с человеческой головой. Побирушка нагнал ее, почти ступил на крыло, но в последний миг поугриному извернулся и остался на свету, покачиваясь, и царапая грудь, и тихонечко поднывая, будто возле большого костра, когда и к теплу хочется, и от жара не продохнуть. Тень теперь кружила рядом: то ли охотилась, то ли подбадривала. Медленно, обходя ямы и кочки, Старуха приблизилась. Возле дома она шугала тени, словно мальков на мелководье: стоило топнуть или кинуть камень, как они прыскали в разные стороны, – правда, потом частенько возвращались, резвясь ли, дразнясь ли. Но *эта* была слишком крупной, она не играла и не боялась, так что Старуха стиснула зубы, вытерла руку о щеку побирушки, оттолкнула его и с бешенством впечатала ботинок в лужицу, накрытую кончиками призрачных перьев.

...Казалось, ее затягивает на глубину. Не сходя с места, она ухнула в невесть откуда взявшуюся прореху – так на смятом рисунке дороги начинают бугриться и на сгибах раскрываются не видимые до того трещины. В ушах стучало, заканчивался воздух, а вокруг густела волглая синь, и сквозь нее глядело, отдаляясь, но вырастая, существо с крыльями орла и головой юноши, и глаза его горели, как два солнца.

Она падала, кувыркалась – и вот, синь выцвела, выпарилась, и все заволокло дымом. Среди клубов метались люди, вроде бы знакомые, с кадушками и ведрами, – нет, это качались от ветра молодые лиственницы, чьи семена сейчас спали под кипреем, в рыхлой от золы почве. Картинка троилась, грудь распирало, но после вдоха стало только хуже: горечь жгла ноздри, губы, язык и горло – до слез.

Наконец она опустилась на дно. Не просто опустилась – прилипла к нему всем телом, которое вдруг перестало слушаться и сделалось легким и плоским, похожим на серую кисею. Мысли тоже истончились; вместо испуга или удивления зудел один вопрос: как быть, если опять зачесется рука? Впрочем, и это беспокоило недолго: вспыхнул свет, разгоняя марево, заставляя шуриться и съезживаться, и она почувствовала, как что-то тащит ее за ноги – вытягивает по земле, ломает на ступенях – и распластывает на щербатых досках.

...Ей недавно исполнилось десять, ее пока не звали Старухой, и лишь тень ее помнила годы, что предстоит прожить.

– Бьюсь об заклад, не стрельнешь.

– Еще как стрельну.

Соседский мальчишка-водонос изводил ее подначками, у калитки родители о чем-то спорили с ростовщиком – его капюшон съехал так, что зальсины блестели на солнце, – а у нее была тростниковая трубка, мешочек, полный сухого гороха, и храбрость, которой хватило бы на десятерых. Р-раз – горошина попала точно в лакомую, будто нарочно подсвеченную цель. Скандал разразился знатный.

На чердаке, где ее заперли, она времени зря не теряла: через слуховое окно выбралась на крышу, проползла по краю к разлапистой сливе, дотянулась до ветки – и едва удержалась, когда из цветка вылетел жирный хрущ. Повисла на руках, раскачиваясь и суча ногами, пока те не нащупали опору, и скоро уже спрыгнула за частоколом, свободная и злая, как оса. Из головы не шли причитания ростовщика – визглив, что твой подсвинок, а все, гляди ж ты, заискивают, – и стук гороха, просыпанного на пол. Обидно: такие снаряды потом поди раздобудь.

В городе нити весенних запахов сплетались с парами выгребных ям, но за воротами ветер вмиг распустил всю канву. Свежесть плеснула в лицо, смыла стыд и досаду – и мир стал ярче, громче: шелестели блики на озере, остающемся позади, перестрел гомоном птиц близкий лес. Дорога петляла в привычном ритме: направо, налево, направо, обогнуть упавшее дерево, опять направо; за орешником – ельник, дальше поляна и березняк.

Она не заметила, когда сошла с проторенной тропы, а погода начала портиться. Просто воздух потемнел, напитался лиловым и серым, словно настой чабреца (в нос вдруг ударила пряная горечь, хотя до цветения оставалось с полмесяца). Затем – резко, без предупреждающей дроби – сквозь листья обрушился поток, и она тотчас продрогла до костей. От холода и грохота хотелось зажать уши и плакать, и неизвестно было, когда ее хватят, тем более – когда найдут.

А потом впереди мелькнул свет. Оскальзываясь, она протиснулась меж стволов к незнакомой, почти затопленной просеке. В тучах здесь тоже зияла прогалина, но дождь все равно падал с высоты, а в тридцати шагах, прямо на воде, пылал костер, и капли роились над ним, точно стрекозы в полдень. Рокотнул гром, как-то радушно, по-кошачьи, и она расслышала – пусть и едва-едва, – что кто-то окликнул ее по имени.

Колени тряслись, во рту пересохло, а тело охватил такой жар, что мокрое платье липло компрессом, – но она пошла: не думая, куда ступает, по воде, и та держала ее и качала, как мать – младенца в ладонях. А еще вода пела, или, может, это перебирал натянутые в воздухе струи ветер, или гудела земля, или баюкал колыбельным теплом огонь. С каждым шагом мелодия звучала громче, звала летать, гореть, не сгорая, дышать подо льдом, и костер отражался в небе, и быстрее колотилось сердце.

Полпути осталось за спиной, когда вокруг затанцевал вихрь. Она споткнулась, глянула вниз и вдруг испугалась, что сейчас провалится, утонет. Разом вспомнилось, что ей холодно, больно, одиноко и она не умеет не то что летать – даже прыгать, как белка. В тот же миг музыка стихла, свет померк. Она потеряла равновесие и плюхнулась в мелкую грязную лужу.

Там ее и накрыла ее же тень.

...Гордость твердила, что до конца не дошел бы никто, но внутри будто что-то порвалось. Сперва крохотная, дыра ширилась, засасывала память и мечты, смех и слезы, и даже детское имя, которое и вообразить нельзя было иным, скукожилось, ка-

нуло в пустоту. Все, что раньше сияло и звенело, покрыл плесенью страх, и самый звук его пророс сквозь естество.

Страх. Стар. Старуха.

С тех пор ее влекло лишь то, что превращало чудо в глупость, а слабость – в благоразумие: власть, которая писклявого ростовщика делает солидным и желанным, молчание в ответ на песню, звериное безмыслие и каменная глухота. Она выбрала это раз, другой, третий – а затем то, чем она стала, выбирало само. И небо, чей взгляд иногда жег затылок, в конце концов отвернулось, забыло о ней.

Старуха очнулась и поняла, что простояла столбом до вечера. Не оборачиваясь, ни о чем не думая, она заторопилась домой, и только полумертвое прошлое внутри жалело, что она прокисла, как варенье, и времени уже не поворотить.

6.

Затишье дожевало смокву дня, но лакричная ночь обещала тянуться не меньше. Шут сидел на обочине, его мутило от духа тухлятины, впитавшегося в одежду, и сладкого привкуса во рту. Ничего не происходило.

Казалось, все длится мерзкий насланный бред. Пожар, о котором шипела та ведьма, Клюка, перекинулся с замка на город – толпа сбесилась, точно конь с тлеющей головней под хвостом. И люди стали не люди – образины: с рылами вместо лиц, кривляющиеся и глумливые, они кидали камни, лили помой, толкали, пинали, еще немного – и отрастят клыки и когти, задерут. А кругом и внутри – немота. Сытая, непобедимая.

...Как жутко опять не слышать не слышать не слышать не слышать... Стоп. Нельзя.

Шут прикусил губу до крови.

Не надо было возвращаться в тот дом. Глупец – сам сунулся в ловушку: до чего, наверное, веселилась треклятая Клюка, когда он заявился под вечер. Но как ей удалось: проникнуть в его сон, обратить тот в кошмар, залить уши невидимым воском – в такое верят лишь те, кто в жизни носа за околицу не казал.

...А если она ни при чем и это случилось взаправду если замок сгорел если музыка... Нет. Нельзя.

Шута все-таки вырвало – желчью. Уже сутки он ничего не ел.

Переждав приступ слабости, он встал и побрел вдоль колеи – найти ручей или на худой конец канаву, чтобы прополоскать рот. Ныли ушибы, саднили порезы, а под костюм сквозь дыры лез насекомый

холодок, и от его легких, быстрых касаний, словно от предчувствия щекотки, по спине бежали мурашки и хотелось втянуть живот. Как назло, осенью повеяло лишь тепер: минувшие два дня, сухие и знойные, дочиста высосали влагу, принесенную дождем. Пыль забивала ноздри и глотку, Шут кашлял, спотыкался, волоча ноги по рытвинам, и дорога в сумерках напоминала белый шершавый язык, который вывалила из пасти больная собака.

Наконец слева он приметил овраг с жидким блеском на дне. Склоны заполонил терновник, и, продираясь сквозь него, Шут будто вновь очутился в городе – и в то же время увидел, ощутил его целиком: хваткий, цепкий, колючий. Город защищался, не подпускал к себе никого, а самых настойчивых мучил с тупым, растительным упорством.

...Почему же почему *мы* явилась в такое место или это случайность сорняк нарост его вырвут выжгут... Прочь. Прочь.

Шут опустился на колени и припал к воде. Небо царапали песчинки, он лакал, и отплевывался, и снова лакал.

Давно осталось позади озеро, из которого черпаками, привязанными к жердям, вылавливали тушки крыс – те, что не смыло течением. Над берегом пахло пометом, гнилью и чем-то вроде женого сахара, люди хмурились, заматывали платками лица, и, казалось, даже мысль о нетронутых запасах пропитывалась тошнотворной сладостью.

...Какая гадость глупость но ведь не знал не думал зачем *мы* позволила... Прости.

Едва дыша от немочи, он выполз из оврага и лег подле него на траве.

Путь в город был заказан, возвращение в замок пугало еще сильнее. Шуту доводилось бояться и раньше – неверной ноты, напрасной боли, печали радующихся, пустоты, – только сейчас другой, постыдный страх отравлял воспоминание о последнем сне. О том, как чужая слабость обернулась общей виной – потому что он, Шут, сбежал.

...Если это случилось взаправду если... Хватит.

Его тряс озноб.

Совсем стемнело: первое солнце скрылось, второе не взошло, и глаза, отвыкшие от скряги-ночи, жадно глотали редкие капли света – или, может, грезили о них наяву, как в пустыне о роднике. Не звезды, не гнилушки – свечи: одна, другая, третья, у поворота, за лугом, меж кустов, парой и наособицу, мелькнули, и исчезли, и снова замерцали вдали. Приблизилась. Похоронный ход.

Все они были здесь: герольд, привратник, повара, конюхи, постельничий, казначей, лакеи,

судомойки, приживалы – и прочие, прочие, неразличимые, безмянные. Шли вереницей, не колебля воздуха, дрожа вместе с неверными огнями, текуче и безоглядно – мимо. Вслед за пешими задом наперед ехали распряженные дроги – оглобли тащились по земле, – а сверху громоздилось что-то рыхлое и тряское, накрытое белой тканью. Шут почти уверился, что это останки Барона, как вдруг саван слетел, зацепившись краем за бурьян. На дрогах не лежало ничего.

Чтобы забыться, Шут смежил веки, но морок, словно корень марены, окрасил черноту в свои цвета. Метались желтые точки, ширились красные круги с молочными сердцевинами, горчичными прожилками, и парная густота на языке мешалась с зернистым пламенем. Волоски на шее вставляли дыбом, сквозь грудь будто струилось что-то, от чего все тело дрожало, как струна. Потом закружилась голова: он падал, нет, летел – и видел, чуял, кожей чувствовал звуки.

Шум нарастал, обвивался плющом, и скоро вызрел холодный, узловатый, кислый до судороги в челюстях вопрос: кто мертвое сделает живым? Кончики пальцев пронзил писк, в горло потоком хлынул плеск – Шут выгнулся, задыхаясь. Тут же вспыхнуло, ослепляя, иное: кто разглядит человека? Гладкие переливы, режущий скрип. Разрыв. По затылку прокатился звон, под ложечкой засосало, и пропахший яблоками и дымом ветер напоследок бросил в лицо: кто повернет время вспять?

...Не могу не могу невозможное людям...

Шут несколько раз сглотнул. Слюна горчила.

Остаток ночи в темноте и тишине он заново открывал в памяти мир, когда-то знакомый до малейшей выемки, до легчайшего запаха, и старые, стертые впечатления подступали ближе и ближе. После того как он, семилетний, упал с обрыва и, чудом выплыв из студеной реки, приплелся домой, с неделю в деревне ждали его смерти. Она и впрямь бдела рядом: топталась в сених, стояла в углу, нависала над изголовьем. Было горячо, сально, прогоркло, как будто он стал масляной лампой, у которой выкрутили фитиль, а не то – короткой лучиной: жар выпивал, поедая его, и он полыхал, и чадил, и знал, что вот-вот потухнет. Все, кроме смерти, отводили слезящиеся глаза, а она смотрела не мигая, прикасалась – ровно желала согреться. Но еще являлось другое: гулкое, гудкое – сейчас Шут подобрал слова. Тогда же ему казалось, что сквозь череп, от уха к уху, льется вода, что в груди, как в просторной комнате, гуляет сквозняк, что там вылупилась и бьет крыльями птица, и, когда она разевает клюв,

вода бурлит, – и он тоже раскрывал рот и тряс головой, боясь захлебнуться, но наружу – толчками – прорывалось одно клокотание. Смерти это не нравилось: она отдергивала руку, съезжалась, пятилась.

Когда мать поняла, что дело идет на поправку, то наконец глянула на него прямо и ясно – и наглухо замкнула для всех двери. Ему же, наоборот, страшно хотелось, чтобы его навешали, или того лучше – самому выйти на улицу. Каждый предмет, каждого человека теперь, словно склянки городокого лекарства, пронизывал новый свет, так, что снадобье внутри сыпало цветными искрами. Еще заманчивей было распробовать вкус – или что-то вроде: если напрягать и расслаблять горло, шевелить непослушным языком, выгибая его, приставляя к зубам, во рту перекатывались те же капли, что сверкали буквально всюду. У-у-у – лучилось, гудело в печной трубе, округлялись губы; ша-ша-ша – шаркали шаги, воздух шипел сквозь щель. Мать подходила, гладила его по щекам, целовала уши, но глаза ее выжигала чернота, а подбородок оплыл и трясся, как забитый зуб у цыпленка.

К несчастью, таиться вечно не получилось: месяца через полтора даже последняя собака пронюхала, что глухой, избегнувший верной смерти, вдобавок слышит и говорит. На самом деле, конечно, слова поначалу давались ему с трудом. Речь текла мимо, бурная, широкая, поднималась, как в паводок, плескала у губ – и тут же отступала, унося редкие крупинцы смысла. Если бы не имя – его имя, до сих пор звенящее в голове, солнцем просвечивающее глубины, – он бы, наверное, так и ловил одни отблески-отзвуки, не умея выделить и выстроить, не в силах понять и сказать. Впрочем, тем, кто тарашился на него, как на зверя, показывал пальцем, и первых косноязычных проб хватало с лихвой. Холодное любопытство, лязгавшее в голосах, ржой источила враждебность; все чаще ему сплевывали вслед: «подмена», «волшба», «лесной народ» (только вспомнив об этом, Шут оценил иронию: то же самое болтали о Ключе). А он тянулся к людям, вторил им старательно и неловко – пока однажды ватага ребят чуть постарше не отстегала его крапивой: считалось, это надежный способ разоблачить чужака.

Комедианты, пробиравшиеся на юг, привезли с собой погремушки из свинных пузырей, летнее пекло, маски, ручного медведя в клетке, смех и крики, деревянные мечи, кукол – и музыку. Когда они пилили плаксивый гудок или бухали в барабаны, зажимали под мышкой волынки, похожие на толстых

гусей, или вместе с флейтой тосковали о дальнем, из мыслей испарялась обида и забывались угольные, незнакомые, все еще ласковые глаза.

Он сбежал. Опять или впервые, из замка, из города, из деревни – что случилось сначала, а что потом, Шут теперь не знал и сам. Бегство множилось, точно эхо, откликалось со всех сторон, в прошлом, в будущем, а когда было сказано слово – никто бы не разобрал.

Утром он проснулся оттого, что его трясли за плечо. Шут не сразу сообразил, где находится, на миг ему показалось, будто он снова в доме Ключки, а сверху навис бургомистр, только почему-то с непропорционально большой головой, как у марионетки. Сердце прыгнуло в горло, но тут голова отдалилась, перед глазами качнулась былинка, и все встало на места: изгнание, дорога, ночь на голой земле – все, кроме сидящего рядом человека с курчавой бородой и в соломенной шляпе. Шут приподнялся на локте – ноги затекли, спина ныла – и сквозь сумерки настороженно вгляделся в смутно знакомое, перемазанное черным лицо. Пахло как на рыбном ряду: тиной и дымом.

Человек что-то говорил, взволнованно, быстро, запинаясь, разбрызгивал слюну, утирался тыльной стороной ладони и вновь говорил, а неподалеку щипала траву пегая лошаденка, до того хилая, что сквозь кожу виднелась трешотка ребер. Эту-то клячу, удивительно живучую, таскавшую в замок телегу с серебристыми, шлепающими карпами, Шут вспомнил первой. Ее хозяин – рыбак из захудалого поселка – раз в неделю поставлял на кухню свежий улов, а значит, еще вчера должен был опорожнить бадьи и вернуться домой. Что же тогда он делал здесь: ветрепанный, встревоженный, взмыленный не меньше своей потерявшей воз доходяги? Шут незаметно вытер потные, липкие пальцы, открыл рот – но понял, что ничего не спросит: как и тогда, в городе, слова, на которых не осталось и клочка звуков, застряли в глотке, будто кость.

С горем пополам, жестами он принялся объяснять, что не слышит. Рыбак сначала не понимал, глядел тупо, затем сморщился – то ли не веря, от обиды за глупую выходку, то ли, напротив, от жалости, – пожевал губами и поднялся, махнув рукой. Шут вскочил следом и чуть не упал: по телу прошла судорога. До чего некстати: пепел, подпалины на одежде, неурочный час и необычное место для встречи, страх в по-рыбьи блеклых глазах – в город летела дурная весть, и отпустить сейчас гонца значило бы отправить его из огня да в полымя. Как мог быстро Шут доковылял до середины дороги

и встал, преграждая путь. Рыбак уже ерзал в самодельном седле. Шут замотал головой и, когда тот приготовился ударить пятками по лошадиным бокам, все-таки выдавил, или выкрикнул, или выхрипел:

– Стой. Там... пожар.

Он не знал, как прозвучало его предупреждение, не знал, как выглядит со стороны, но рыбак вздрогнул, а кляча шарахнулась прочь. На вид изможденная, она прынула так, что скоро вместе с всадником исчезла за поворотом. Шут снова остался один.

Между тем разгорался день: отсыревший за ночь, он не грел, чадил, укрывая ложбины туманом, наконец затлел по краям и осветил небо ровно и тускло – этот невыносимый день, звеняще тихий, как его, Шута, свобода. Когда-то в замке музыка рассыпалась на звуки, теперь она и вовсе умалилась до тишины, уступила, оставила его – чтобы он моглизнуть, или отвернуться, или жить дальше. Сон оказался явью, и вместе с ним – ужас, гибель, торжествующая пустота, а Шут сидел, кутаясь в дырявый костюм, смотрел на золотое поле и чувствовал, что у него подводит живот.

...Я не просил *тебя* о снисхождении я бы сгорел ради *тебя* зачем *ты*... Нет.

Он сорвал какой-то стебель и принялся терзать его зубами.

Как, зачем, почему случилось так, что он, всегда искавший последней, неотменимой встречи, стал единственным, кто ее избежал? Остальные – Барон и прочие, эти крысы, образины – ничего не знали, не ждали, не слушали. Они жевали, не разбирая вкуса, путали дерьмо с жемчугом, храпели по углам, совокуплялись и грызлись друг с другом, копошились, растаскивали заразу, которая опустошала их изнутри. А он ведь пытался, он играл им и пел для них, хотя порой хотелось удавиться.

...Я бы сгорел ради *тебя* но не ради них почему *ты*... Нельзя.

Шут сломал стебель в кулаке.

Нет, они не были крысами – это крысы плодились в каждом из них, точно в городе. Невидимые, ненасытные, они сжирали подчистую посева и запасы – все, что стяжалось упорным трудом, малое и необходимое, как зерно, как разница между образом и образиной. Разве кто-нибудь мог вывести этих крыс? Разве он, Шут, нанимался в крысолоры? – Почему *ты* любила их?

Он не сразу понял, что сказал это вслух. Просто заняли спекшиеся губы.

И тогда Шут вдруг вспомнил – вернее, все это само вспомнилось ему. Как тоже больными, разбиты-

ми мужем в кровь губами судомойка не пела – шептала колыбельную внуку, и в шепоте звучала – музыка, пусть и едва живая среди ворчливых вздохов и слюнявого свиста. Как палач, остервенело секший конюха – под Бароном пала очередная кобыла, – ни с того ни с сего замер и опустил руку просто так, с протяжным «э-эх», в котором вихрем пронеслась – музыка. И так же резко, неожиданно стихла. Как долговязый, долгоносый, долготерпеливый приبلуда стоял у окна, расправив плечи, дрожа, будто натянутая тетива, и взгляд его стрелой летел вдаль, и из глаз его, когда он обернулся, целый миг смотрела – музыка. Наконец, как Барон, любивший за обедом принимать самых жалких, обглоданных голодом просителей, швырнул одному – или в одного? – гнилую луковицу (повар потом клялся, что подложил кто-то из слуг), и из этой луковицы проросла – музыка.

Словно солнечный свет, что заливает площади и проникает в сараи, словно ветер, что веет в горах и долинах, она дышала, где хотела, приходила неведомо откуда и уходила неведомо куда.

Шут поднялся. Он так долго искал не там, что поиск превратился в побег. Пора было вернуться – в единственное место, где еще не отзвучал финал.

7.

В городе, что на Сонном холме, когда день стал равен ночи, очнулся древний дух и родилась от земли...

...И музыка была солнцем.

Старуха загодя ослепила дом. Так она обычно готовилась к зиме: ставни – наглухо, тряпки – в щели. Дело нехитрое, но в этот раз все шло наперекосяк: мало того, что стены и пол вздрагивали от подземного сердцебиения, еще и руки предавали ее. Пока одна запирала замок, другая норовила откинуть щеколду, пока левая ставила на сундук двурогий подсвечник, правая взмахивала подолом, и пламя трепыхалось, и тени пускались в пляс, крылатые, огнеглазые. У Старухи тогда гудело в горле – и она плотнее сжимала губы и отходила подальше от дверей, хороня звук в себе, а себя – в доме.

Весь город – она рассчитывала на это – сегодня должен был затихнуть, как погост, замереть, как люлька с мертвым младенцем.

В комнате под ногами хрупали осколки: из-за тряски разбился принесенный кухаркой до свету кувшин с молоком, и Старуха, убрав приметные черепки, кликнула Выхормыша – пусть вылизет теплые растопыренные лужицы. Спустя час здесь по-преж-

нему пахло младенчески-сладко, а взгляд тут и там наткался на белое и блестящее. Такого раньше не случалось – чтобы крысеныш отказался от лишнего глотка или куска, и Старуха забеспокоилась. Не-кстати снова вспомнилось вчерашнее «Горячо! Дудка!», и странное требование на лице, и побирушка, выросший из себя, как из детского платья, – почему, зачем они так смотрели? Старуха высовывала кончик языка, нюхала воздух, шевелила пальцами, пытаясь изловить ответ, но в голове у нее все шире, голоднее распахивалась червоточина, и мысли мельтешили испуганной мошкаркой и одна за другой исчезали. Наконец осталась не догадка даже – холодок по спине: быстрее, проверить флейту. Старуха бросилась к тайнику – и нашла его разоренным.

Дом качался, и ее качало из стороны в сторону, и коридор вставал на дыбы, и обращался печной трубой, и вместе с дымом от погасших свечей выталкивал ее, легкую, словно шелуха, наружу. Но здесь тоже все двинулось с места: камни катились, сбегали с холма, и птицы кричали, и деревья, чьи оголенные корни едва держались за землю, казалось, вот-вот шагнут неловко и длинно, как богомолы. На карачках Старуха ползла вдоль обочины, вокруг густел сумрак, а позади скрипело, трещало, вздыхало и хлопало, и когда она обернулась, то увидела, что дом ее рухнул и над ним стоит пыль столбом, а наверху темно, точно перед грозой, но это не туча – солнце, громадное, как небо, и мрачное, как власьяница.

...И музыка была жаром.

Когда Шут доплелся до городских ворот, наверное, перевалило за полдень. Погода совсем испортилась: в один миг сделалось пасмурно и душно, так что пот со лба лил ручьем. Землю все чаще била дрожь, иногда с трудом получалось устоять на ногах или не споткнуться о вывороченный булыжник. Еще издали стало заметно, что над городом поднимаются дымы, черные и чинные – ни ветерка. У ворот тлел сухостой и, как в замке, разило гарью, от чего у Шута завечерело на сердце. Всю дорогу он тревожился и надеялся, будто в ожидании приговора, но лишь теперь понял, как страстно хочет отступить.

Ведь он по-прежнему – беги не беги, проси не проси – не слышал ни звука, и тишина следовала за ним, как верный пес.

Путь вперед меж тем был свободен: проход никто не охранял, и заготовленные уловки пропали втуне. Шут одолел последний перекресток; торопливо, не оглядываясь, прошел под аркой. Сверху сыпалась каменная крошка, и он вдруг увидел себя на дне огромных песочных часов: время пока сочилось, бе-

лило волосы, лезло в нос пылью, от которой тянуло чихать, только нижний сосуд лопнул, и мгновения сухой струей текли дальше – бесповоротно. От этой картины тело обожгла тоска, и, когда оком наполнила улица с ее горем и грязью, Шут расстрогался до кроткой жалостной мягкости. Люди, как будто больные, насилу вытщенные из постелей, лежали в канавах, прятали глаза, у каждого второго из ушей торчали тряпки – но все это напоминало о чем-то родном и неизбежном. Он кинулся к одному, к другому, чуть не распластался рядом, попробовал помочь толстяку, что барахтался на кромке ямы в задравшемся исподнем, – тот уставился вниз и отпихивался локтем. Опять, как во сне, на Шута не обращали внимания, и он совсем отчаялся, когда кто-то сзади тронул его за плечо.

Глухонемой бедолага – первый, с кем он разделил здесь музыку, – улыбался, и показывал на небо, и гладил свои уши, и что-то говорил, и с каждым его неслышным, но, без сомнения, про-из-не-сенным словом у Шута сильнее кружилась голова. Он опустил на колени, потом сел, привалившись к изувеченному частоколу, – мир продолжал опасно шататься, и вот – куда-то делся немой (хотя какой он теперь немой!), и сгинул толстяк, и накрепко закрывавшие горизонт сараи. Шут поднял взгляд – но ничего, кроме сплошного темного облака, не различил. Опора за спиной трепетала, как живая, а он все смотрел вверх, и смотрел, и смотрел, и уже почти отвернулся, когда почувствовал, что лицо шупают горячие солнечные пальцы. От их касаний наконец брызнули слезы.

...И музыка была громом.

Старуха решила бежать из города.

Как ни крути, план ее вышел боком, и то, что началось, не мог остановить никто: солнце раскалывали молнии и, словно зеркало, трескалась земля. Тут и там вспыхивали пожары; пятась от них, Старуха с ледяным бешенством сознавала, что, вместо того чтобы двигаться к воротам, забиралась ввысь и вглубь. Утром ей удалось – таки согнать всех в норы, но улицы, сперва пустынные, быстро захлестывало безумие: кто-то метался, оголтелый, кто-то валился ниц, кто-то спасал пожитки, кто-то сам, как скарб, прирастал к месту и разве что моргал лупоглазо, вперившись в никуда; кто-то вопил, кто-то хрипел, кто-то молчал и прислушивался – к чему? Старуха не хотела знать. Ей казалось, она единственная осталась в своем уме, единственная рвалась из капкана. А тот не отпускал, и ноги, всегда верные, вдруг изменили ей и зачем-то вынесли к ратуше.

На ступенях сгорбился бургомистр. Он выглядел заволашевающе пристойным, так что Старуха рискнула подойти ближе, хотя башня, где на циферблате дергалась, затихая, никчемная стрелка, нависла под таким углом, будто сама отсчитывала время – уж минул час. Бургомистр не шевелился, Старуха подступила почти вплотную и заметила, что его запястья и лодыжки обвивают куски церемониальных цепей. В нос ударил запах опилок, и, когда она ткнула пальцем в бургомистрову щеку, под ноготь впиалась заноза и раздался глухой деревянный стук.

Стоило ей покинуть площадь, как с неба грянуло. В раскатах слышался голос, грозный, точно звук трубы и шум половодья, но Старуха отказалась внимать словам: после ужаса, *вместе* с ним, к ней возвратилась уверенность в собственной власти. Красный чурбан, марионетка – она сама нарекла бургомистра так.

...И музыка была маем.

Шут, словно в калечном детстве, наблюдал за всем со стороны.

Трясти почти перестало, но чем глубже он заходил в город, тем жарче цвела огненная весна: пахло немислимым здесь яблоневым садом, и языки пламени, как раньше тени, стрижами носились вокруг. От них шарахались, и он шарахался, пока один, мелкий и верткий, не влетел голенастому, запутавшемуся в ногах парнишке прямо в рот. У Шута перехватило дыхание – но ничего не произошло: парнишка замер на мгновение, встряхнулся и принялся лепетать что-то, просветлев лицом. Еще погода встретила знакомая девчонка с толстыми, упрямыми губами – на ее предплечье искрилась желтая птица. Шут остановился, девчонка смотрела шало и весело. Подняв брови: можно ли? – он улыбнулся, и присел, и хотел погладить птицу, но тут же отпрянул: горячо. Ладонь покраснела, на коже взбухли мутные пузыри.

Баякая кисть, он шагал и шагал дальше, по склону вверх, и видел, как одни танцуют с огнями, а другие, изъязвленные, пытаются укрыться от них; как птицы, многоокие и многокрылые, порхают, полыхают, роняют перья, и там, где они падают, занимается новое пламя: на воде, на камнях, в воздухе. Выбирать путь становилось все труднее: город раскалялся, будто печь. Шут наконец забрел в глухой, обманчиво длинный тупик – и понял, что не первый угодил в западню.

Пасынок Клюки, Выкормыш, весь обожженный, скорчился в дальнем углу. В руке у него – Шут не поверил своим глазам – была зажата флейта, и белые костяшки скрюченных, как когти, пальцев срав-

нялись по цвету с ее ясным, ясеневым телом. Он потянулся к ней, попробовал осторожно расцепить хват – Выкормыш задрожал. Тогда Шут просто сел рядом, и тот, глянув косо раз, другой, сам выпустил добычу, как собака хозяйский трофей. Шут взял флейту – наконец! – и ощутил тяжесть треснувшего, мокрого от чужого пота куска дерева, с которым больше ничего не мог сделать.

...И музыка была мигом.

Теперь Старуха не бежала – это пламя расступалось перед ней. Она давно замкнула слух и шла, доверяя носу: два сплетенных запаха, мускуса и чабреца, петляли тонкой серо-лиловой нитью. Чтобы не терять их, она порой даже слепляла веки, особенно когда голову морочила рыжина: крылья, цветы, макушки. Как-то мелькнули погодки, резвившиеся с непонятной тварью, – Старуха поспешила отвернуться. Эти двое не принадлежали ей, она искала крысеныша и флейту.

Нюх не подвел: в конце концов она узнала дорогу. За поворотом тянулась вонючая кишка голодного тупика, который прозвали так после нашествия крыс в здешние амбары, – конечно, Выкормыш приполз именно сюда. В проходе горели сваленные в кучу ящики, и Старуха замешкалась, хотя там, где она ступала, огонь гас, будто в пустом горшке. Отчего-то ей вспомнилось, как в такие горшки, из рыжей глины, мать в детстве разливала похлебку, – и в этот миг, меж вдохом и выдохом, одна искра ускользнула от нее.

...И музыка была жизнью.

Шут ужасно хотел пить, но, будь у него вода, до капли отдал бы Выкормышу. Тот совсем изнемог: лежал на боку, не поднимая головы, и только слабо дрыгал конечностями – все равно что околевающий зверь. Не встрепенулся даже, когда рядом вспыхнул сиротливый, жалящий пчелой огонек, и Шут отмахивался за двоих.

Вдруг, среди нестерпимого зноя, мороз продрал по спине. Шут услышал – как мог слышать глухой – звук беззвучных, пустых шагов: кляк-кляк, кляк-кляк. В ушах зазвенело: музыка тоже приблизилась, опаяя, – и Выкормыш вцепился ему в большую кисть. Нужен был инструмент – Шут посмотрел на флейту, немую, разбитую, взглянул вверх, но солнце опять скрылось от него. Тогда, стиснув зубы – *я бы сгорел ради тебя*, – он поймал пчелу, впечатал себе в грудь и позволил уязвить сердце.

...И запела костяная трещотка и струны из мягких жил. И он стал тем, кто играет, и тем, на чем играют, и вырос, и умалился. Развернулась, как нотный свиток, раскинулась даль, вся – от детского

плача до смертного стога – в его груди, просторном и гудком зале. Все, что было, и есть, и будет, вступило в хор, и мелодия, прекрасная и страшная, стала ясна целиком, от первого и до последнего звука.

Когда-то он шел по городу, непричастный, теперь город сделался частью него, садни, словно рана, и ждал исцеления. Он выправил, выпросил, выстрадал – и башня, падавшая неумолимо, как стрелка часов, вернулась к полудню, и с громового неба хлынул нечаянный благодатный дождь. Под ним стояла и мокла спящая востроносая девочка, на которую опиралась кривая, пустая внутри клюка.

Он позвал девочку по имени, и та очнулась, и вместе с ней к нему обернулась смерть. Было жутко, и жалко, и жгуче, но он претерпел до конца.

...И небо на полчаса смолкло.

Она стояла в тупике и второй раз в жизни мокла под одним и тем же, неизвестно откуда льющимся дождем. Впереди, в глухом углу, пылал костер, возле которого хныкал одинокий Выкормыш. Она не помнила, как попала сюда, но знала, что должна забрать мальчишку.

На полпути капли вдруг стали горячими, шипели, ошпаривали, точно жидкое пламя. Она споткнулась, натянула на голову рубаху и почти пустилась бегом: ткань начинала тлеть. От костра шел невыносимый, пугающий до крика жар, и в груди что-то ворочалось, верещало, чем ближе – тем яростнее.

В двух шагах она остановилась, тяжело дыша, не смея моргнуть от страха. Выкормыш отполз, всхлипнул, еще отполз – и ее словно толкнуло вперед. Внутри заревело: *он мой* – она схватила мальчишку на руки; рев приказал: *падай* – под ногами распахнулся провал. Она чудом успела извернуться и вместо бездны кинулась в огонь.

Боли не было: вокруг колыхалось мягкое, ласковое тепло. Выкормыш – нет, уже не Выкормыш, – перестал дрожать, и, пока догорал костер, ожоги на его лице исчезали, а вместе с ними стирались хищные крысиные черты. Перед глазами он вертел, рассматривая, белый камень, и когда она пригляделась, то в шербинах прочла имя.

И тогда музыка стала словом.



ЛЕТОПИСЕЦ



АНДРЕЙ НИНОНОВ
Родился в 2002 году в городе Жуновском. Победитель
конкурса «Класс», студент
МГИМО.

С одной стороны неба уже показались звезды, с другой – еще совсем светло. Фонари не определились, к какой стороне прижнуться. Но, сомневаясь, заглялись. Пахло женой листвой: такой панельный Рене Магритт.

В апреле очень приятные вечера. Весь день шпарит в районе двадцати градусов тепла, испепеляя каждого, кто надел пальто. Вечером же холодный ветер забирается под то же пальто своими корявыми холодными пальцами, и ты понимаешь, что не такой дурак, как думал о себе с утра. Просто апрель хитрее.

Я закурил. На лавочке во дворе моей хрущевки сидел дед.

- Дай закурить.
- Тебе же нельзя!
- Ну одну...

Дед смотрел на меня настолько жалобными глазами, что мое сердце дрогнуло. Вдруг он сегодня последний день живет, а я ему в сиге откажу.

- На. Но! Пей таблетки, а то получишь по...
- Спасибо тебе, родной!

Я сел рядом. На детской площадке тусовалась кучка подростков. Лукьян Умирыч затыкался и смотрел на них сквозь свой фирменный прищур. Когда шайка собралась уходить, один из ребят кинул в урну бутылку колы. В урну он не попал, но решил не утруждаться и удалился восвояси.

Умирыч выдохнул дым тяжелее, чем до этого. Выставил вперед открытую ладонь и провел ей вверх. Бутылка, презрев законы гравитации, поднялась над землей и нырнула в мусорку. Я улыбнулся.

- Это еще ладно. Не со зла же. Вчера двое горку расхреначили, я всю ночь чинить пытался. А это же пластик, я ж с пластиком никогда...

Из моего подъезда показался второй старичок и, опираясь на тросточку, поковылял к нам. Умирыч заулыбался во весь свой беззубый рот.

- Етить, кто вылез! Умилыч, здарова!
- Здарова, Умирыч!

Деды трясли дряблые мышцы в своем старческом рукопожатии. Лукьян Умирыч и Иван Умилыч были нашими дворовым и домовым. Да, рядовые горожане видели в них просто дедов, неизвестно как переживших палеозой и дошедших до наших дней в относительно нормальном, хотя и бэушном состоянии. На самом деле эти двое живут здесь со времен, кажись, вятичей – до сих пор путаюсь в славянских племенах. Во всяком случае, в тех кипах бересты и прочей лабуды, переданных мне предыдущим летописцем, эти двое были чуть ли не самыми ранними персонажами.

- Ладно, мужики, вы тут сюсюкайтесь, а мне надо до Варвары Ярославны добежать.
- Постой покамест! – Умилыч всматривался в мои глаза, пытаясь найти ответ на свой вопрос без слов. Говорить ему тяжело – годы.

- Я телепатически молчал.
- Сегодня будет?
 - Будет.
 - Ну беги, летописец.

* * *

Почему-то я вижу их с детства. Когда в июльский душный полдень на городском пляже я облил какого-то мужичка, лежавшего на песке, водой из бутылки, мать меня отругала:

- Ты совсем, что ли! Даже с этими так нельзя!

Кто эти и как так – я сперва не всек. Понял только, что есть какие-то «эти» в нашем городе. Сам же дядечка мне подмигнул, поманил пальцем и сказал:

- Пацан, я водяной. Иссыхаю... Бутылочка, конечно, хорошо, но вот если бы ты дотащил меня до озера, был бы благодарен.

Видели бы вы глаза матери, когда я, подающий надежды юный художник, взял водяного за мозолистые ладони с нестриженными когтями и, тужась, потащил к воде. Как только божь коснулся воды, выражение его лица с алкогольно-опьяненного сменилось на выражение победившей веры в человечество.

Водяной плюхнулся в воду, я сполоснул в ней грязные руки. Мама в ступоре смотрела, как мужичок проскрипел:

- Да, малец, ты однозначно не так прост, как кажешься. Еще встретимся.

И поплыл.

Про следующие встречи с «этими» говорить маме я не стал, опасаясь трехчасовых лекций о вреде божьей. Я не понимал ее отвращения. Все равно ведь человек, даже если грязный и пьяный. И бездомный.

Другие «эти» на водяного не походили. Но обычно выглядели как раз как те социальные элементы, с которыми бы вы меньше всего хотели контактировать в повседневной жизни.

Примерно из-за этого и случилась моя вторая встреча с ними. Я возвращался на автобусе поздним декабрьским вечером (хотя, конечно, зимой в какое время вечера ни ткни – все позднее). У «Детского мира» зашла старушка, от которой только и ожидаешь услышать про джип в Москве и что-то там в Амстердаме. В автобусе почти никого. «Детского мира», правда, тоже лет двадцать как нет. Бабушка целеустремленно дочапала до меня и приземлилась рядом. От нее не очень приятно пахло, как от всех старух в общественном транспорте, из всего многообразия попутчиков выбирающих тебя.

Я живу почти на конечной. Как правило, до площади Громова никто не доезжает, и я спокойно

спрыгиваю на импровизированную остановку – залитый на песке бетонный прямоугольник, перебегаю дорогу и пилю еще минут пять до дома.

Каково же было мое удивление, когда эта старушечка начала корячиться, чтобы вылезти на моей остановке. А потом еще затребовала помочь ей дотащить сумку до квартиры, а то сил уже нет с этим пенсионным фондом, Господи, будь они прокляты, воруют и воруют, все наесться никак не могут, тьфу!

Я человек простой. Просит бабуля помочь – помогаю. Всю дорогу она рассказывала обыкновенные пенсионерские вещи, про сына, который забыл, про подорожавшие лекарства, про акции во всех локальных продуктовых. Большую часть реплик я слушал молча. Иногда кивал, иногда многозначительно тянул: «Эх. Да-а-а...»

Сумка у нее правда тяжеловата. Иногда диву даешься, куда все эти старухи катят по утрам в транспорте? Куда им всем надо в час пик? Нет бы дома сидеть, есть беззубым ртом вареную курицу и смотреть Галкина по Первому. Или чего там они смотрят?

- Так мы летописца искали. Теперь не будем.
- Чего?

Сначала я подумал, что мне послышалось. От неожиданности даже остановился.

- Что, простите?
- О, мы пришли! Вот мой подъезд. Подымешь сумку, сынок?

Подъезд соседний с моим. Классика. Больше всего в жизни обожаю совпадения.

Коридор квартиры напомнил мне тот, по которому ты в семнадцать лет в три ночи пробираешься на улицу кутить мимо спящих родителей. Еще и завален откровенным барахлом. Похоже, в квартире никто не живет. Или старушке просто лень убирать. Хотя обычно старушкам никогда не лень убирать...

- Проходи в кухню, чайку налью за помощь!

Как мне вредит моя деликатность! Она исковеркала мне... Впрочем, от чая вряд ли будет хуже.

В кухне под тусклым светом какой-то простецкой советской люстры сидел дед.

- Здравствуйте. – Я немного стусебался. Бабушка вроде не говорила, что у нее есть дед.
- Привет. А я тебя как раз давно жду.
- В плане?

Я слегка попятился и уперся во что-то. В голове: пистолет, направленный мне в спину, семья пенсионеров-рецидивистов, месть за процентщицу. Обернулся – нет, всего-навсего чуть не опрокинул поднос с сервизными чашками из, вероятно, полупрозрачного серванта.

– Садись, родной, обо всем по порядку. – Дедушка указал рукой на табуретку у батареи.

Только сейчас я заметил, что стол завален как будто рукописями – листами, исчерканными символами, похожими на русские буквы. Только не русские. Сложно.

Я сел. Бабушка с улыбкой поставила передо мной чашку и блюдце с плюшками. А еще коробку классического рафинада. Помню, в детстве очень любил кусковой сахар. Сидели с дедом в беседке, он заваривал чай с мятой...

– Мелиссой и лимонником. Сахар мажай и откусывай – будет очень вкусно!

Старик смотрел мне в глаза и улыбался. Он очень напоминал Дмитрия Лихачева: такие же седые волосы, советский пиджак, размеренная речь. Словесник, вероятно.

– Знаешь, дружок, мне про тебя Онуфрий Семеныч рассказал. Я тогда не поверил. А ты, оказывается, и правда такой, каким тогда ему показался.

– Кто рассказал?..

– А! Ты настолько не осведомлен. Онуфрий Семеныч – наш участковый водяной.

Старик все еще смотрел мне в глаза и улыбался. Я поперхнулся.

– Так. Добро. Меня лет пятьдесят назад тоже позвал на кухню, как я думал, спятивший дед и начал гнать пургу. А это же Союз еще был – сам понимаешь, что угодно на кухне страшно говорить. Особенно такое. Но теперь вроде можно. Максимум пальцем у виска покрутят.

Я молчал. Действительно, если выбирать между пальцем у виска и расстрелом, первое симпатичнее. Старушка подседа к нам, подперла ладонью подбородок и стала следить за беседой.

– В общем, дружок, приятно познакомиться. Я – летописец. В отличие от человечников, мы, летописцы, смертные. И мое время подходит к концу.

– В отличие от кого?

– А! Ты настолько не осведомлен... Смотри. Часто ты встречаешь внезапно разговорчивых людей на улицах?

– Ну, бывает.

– А очень прилипчивых?

– И это случается.

– Это не люди, дружок. Это человечники. Назвали их так потому, что проверяют обычный люд на человечность. Кто как – кто-то давит на жалость и просит милостыню, кто-то хамит, кто-то просто докучает. Суть одна – этих людей не очень любят и считают за... Как бы сказать?

– За юродивых нас считают. – Старушка впервые вступила в беседу.

– Спасибо, Клавдия Владимировна. Да, за юродивых, ненормальных, убогих. И другие синонимы. Суть в том, что эти люди были и есть. Хотя быть им осталось недолго.

– Ну, мы еще посмотрим, кому недолго. – Клавдия Владимировна улыбнулась как человек, который знает несколько больше обывателя.

– Об этом немного позже. Смотри. – Лихачев указал на хаотичные листы. – Это летопись. Здесь все, от Рюрика до Путина, как менялись русские люди. Все их встречи с человечниками. Их писали многие, в том числе и я. А теперь предстоит тебе. Потому что ты – следующий летописец. Челюсть моя уже лежала где-то на уровне плюшек.

– А почему я...

– А этого никто не знает. Разве что, говорят, ты неплохой художник. Но сколько я ни вчитывался в листы, ответа не нашел. Видимо, летописцев выбирают где-то там, где наши бумажные записи потом примут в качестве отчета. В общем, сейчас не об этом. Ты – не просто следующий летописец, а последний. У каждой истории должен быть конец. История человечников закончится либо тем, что люди пройдут проверку, и тогда все докучающие элементы навсегда исчезнут. Либо тем, что люди ни с чем, как обычно, не справятся и исчезнут сами. Пока непонятно. Единственное, тебе придется дописать эту летопись.

– А как?

– А это я тебе расскажу в следующий раз. Запомнил квартиру мою?

– Да...

– Жду завтра в семь.

Я моргнул и очнулся прямо у дверей своей квартиры. Жаль, не успел спросить, почему в семь – есть ли у него график работы и перерывы на обед. Хотя, может, так шутить не стоило бы – вроде дед нормальный.

Не знаю, почему, но на следующий день я пришел туда. Возможно, юношеская тяга к приключениям. Я ходил в эту нехорошую квартиру (жаль, живу я не на Садовой, а на Лесной) целый месяц. Почти каждый день.

Старичок рассказывал мне о видах человечников – попрошайках в электричках, алкоголиках, которым не хватает на проезд, старушках в очереди и многих-многих других. И уверял, что все это существа еще из Древней Руси. Там их называли и кикиморами, и вольными, и домовыми, и как только нет. А сейчас, простите, двадцать первый век. Приходится оптимизироваться.

Еще старик учил меня летописной грамоте. Ее то ли по привычке, то ли по традиции, то ли из-за бюрократических проволочек вели на старославянском. Пришлось осваивать – благо я призер районной олимпиады по русскому. Не так сложно.

В один день старичок пригласил меня, сложил в авоськи разные тома летописи. Сказал, что самые последние строки будут написаны особыми чернилами, и я точно пойму это. Потому что это будет апрельский день, в который начнут жечь листву. И меня обязательно попросят закурить. Чернила нужно будет забрать у Варвары Ярославны – продавщицы «Пятерочки» рядом с нашим домом. Да и любые писательские принадлежности, которые также не вечны, следовало заказывать у нее. И прийти к горящим полям в полночь.

На следующий день в квартире мне никто не открыл.

* * *

В отличие от старика, человечники никуда не исчезали. Но и, конечно, не молодели. Думается мне, рассвет сил у Умильча и Умирыча пришелся на тринадцатый–пятнадцатый века. Эти двое ждали конца, наверное, сильнее всех. Именно им приходилось чаще контактировать с людьми – жить в их дворах и домах.

Я их любил, без дураков. Классные деды. Они ко мне относились с большим уважением: так, наверное, безнадежные пациенты относятся к лечащему врачу. Знают, что все, по сути, потеряно, но ловят каждое слово. Правда, пациенты – с надеждой остаются, а эти – с надеждой уйти.

Красная вывеска магазина отвлекла меня от ретроспектив. Подмигнула бабушке, продающей вязаные носки у входа в магазин. Замечательный пример конкуренции в условиях современного рынка. Интересный тест на то, что выберет человек общества потребления. На входе стояли продающиеся куличи – до Пасхи всего ничего.

С недавних пор в «Пятерочках» можно забирать доставленные заказы. Летописные принадлежности, конечно, не исключение.

– Муштина! Пятьдесят один рубль семьсот четыре копейки!

– Ну...

– А вы сколько дали?

– Пятьдесят один рубль...

– А где семьсот четыре копейки?

Варвара Ярославна была обычной, полной касиршей. «Полной» здесь можно трактовать по-раз-

ному. Многие люди, контактировавшие с ней, добавили бы еще «хамоватая». Мало кто догадывался, что на самом деле Варвара Ярославна – ярчайший человечник, проявляющий истинное нутро покупателей. Когда она заметила меня, то моментально изменилась в лице, ее щеки расплылись в улыбке.

– Люда! – донеслось куда-то в неизвестном направлении. Покупатели недоумевали. Варвара Ярославна все объяснила. – Пра-аходим на другую кассу! Эта на спецобслуживании!

На складе магазина высились вавилонские башни коробок. Вероятно, разрушив одну такую башню, продавцы раз и навсегда потеряли общий язык с простым народом. Но ничего.

В одном из дальних углов, как и положено, лежала маленькая коробочка. Варвара Ярославна подойти не рискнула – просто указала рукой. Я соскоблил ногтем скотч. Внутри – чернильница, пузырек и новое перо. Не знаю, зачем такой джентльменский набор – вроде нужны были только чернила. Но сверху картина летописи все-таки виднее.

Уже перед самым моим уходом Варвара шепотом, чуть ли не озираясь (хотя кого ей бояться?), спросила:

– А что, правда сегодня?

Я улыбнулся.

* * *

– Обидно, что я – человек, не который пишет, но которым пишут.

Умильч почесал лоб.

– Может, так и лучше?

– Просто не понимаю, почему именно я пишу эту летопись. Почему никто другой не мог? В чем моя особенность? Что от меня зависит?

– Знаешь, в летописях вообще крайне сложно придумать что-либо свое. События и явления здесь происходят вне зависимости от личности автора, и он лишь наблюдатель. Констататор очевидного. Это у тебя, дружок, глаза бояться.

– А руки?

– А ручки-то вот они... – Умильч покрутил своими стариковскими ладонями перед моим лицом.

Первый раз макнул перо в чернильницу. Нужно сказать, я совершил своего рода революцию в летописании. Как-то со скуки оставил на полях небольшую зарисовку происходящего. Обыграл то, о чем пишу, в миниатюре. Потом пробежался по летописи и понял, что больше никто зарисовок не делал. Единственное, после всех значимых событий шла одна и та же миниатюра, закрывающая главу:

поле, скопление людей, поднявших головы к небу, и огонь.

Раньше мне казалось, что это всего-навсего метафоры, образы. Но сейчас я писал о том, что слова предыдущего летописца (или, может, это более древнее пророчество?) начали сбываться:

«ī загорелись пола в мѣсацѣ апреле. Конецъ пѣхдодилъ всеи исторїи человечниковъ. Соидеть тотъ огонь либо на люди не прошедшихъ испытанїе либо на тѣхъ кто ихъ истадалъ. ī оустановитса покой».

На полях я снова набросал миниатюры. Всех, кого вспомнил: от водяного до Варвары Ярославны. Всех тех, кого обычно люди ненавидят. А я люблю.

* * *

Мы вышли где-то за полчаса. Идти недалеко, но Умирыч с Умильчем не особо шустрые. А я решил идти вместе с ними. Все-таки провожаю стариков в самую важную для них дорогу.

Город спал. Душный апрельский день переходил в теплый апрельский вечер. На мне, кажется, была футболка, спортивки и рюкзак на плече. В рюкзаке – летопись. Если что, буду с ходу фиксировать последние события.

Умирыч с Умильчем стучали тросточками по асфальту, покрытому трещинами. Казалось, что трещины остаются как раз после ударов, но я уж и начал забывать, кажется, что неровности дорог у нас явно постарше любой летописи.

На небе ярко светила луна. Вскоре между последними городскими домами – понастроенными недавно высотками – показалось поле. Никаких вулканов или пожаров. Так, немного дымило. Запах женой травы слышался издали, да и дымок плавно стелился по дороге, от поля ведущей.

Когда мы добрались до поля, на западе явилась большая звезда в виде копыя. Человечники – небольшая кучка, наши локальные уполномоченные по добрым делам, – стояли и смотрели на эту звезду. И, кажется, все восприняли ее как знак. Только никто не мог понять, чего именно знак.

Кучка юродивых, презираемых и ненавидимых казалась еще меньше под черными сводами звездного неба. Мне их искренне жаль. Тяжелый труд – нести благо другим, когда берешь удар на себя. Еще больнее от мысли, что мне придется расстаться с ними. Или, может, если люди все же не пройдут проверку, и сам я исчезну? И все мои близкие?..

– Слушай, – Умирыч глядел в небо и заговорщическим шепотом спрашивал Умильча: – А как ты думаешь, чем все кончится?

– Да кто же знает. Так выходит, что у Концов Света нет каких-либо индикаторов. В истории же вообще редко кто-то бежит с табличкой, мол, «началась Смута» или «начался Конец Всего».

– У меня было достаточно времени, чтобы понять это.

– Тем более. Разве на фоне веков лишние пять минут что-то значат?

Все замолчали. Двенадцать. Ничего не происходило – лишь где-то во дворах лаяла сигнализация.

– Летописец, а как оно все должно пройти?

Если бы я знал. Конечно, хороший прогнозист делает выводы о будущем на основе прошлого и настоящего, но такое ведь нельзя прогнозировать. Нужно пророчествовать. А я скорее бюрократ в этой системе вселенских проволочек.

– А вы чего тут?

За моей спиной раздался детский голос. Обернулся. Мальчик тер сонные глаза и глядел на наше сборище. Пара десятков человек в ночном поле.

– А мы на звезды смотрим, – сказал Умирыч. – Хочешь с нами?

– Хочу!

Погибе Луна и бысть яко месяц. Затмение. Но все стояли и смотрели. Никто не исчез и не растворился. Паренек тоже, не отрываясь, глядел на небо.

– Вы давно тут? – дернул он за рукав Умирыча.

– С самого начала, – улыбнулся тот.

Под звездным небом всегда хочется говорить о чем-то высоком, особенно зная, что в такие моменты слова всегда ценятся сильнее. Потому что важные. Потому что, вероятно, последние.

– А что было в начале? – вмешался я.

Мальчик поглядел на меня круглыми от изумления глазами.

– Бабушка говорила, что в начале было слово.

Умирыч улыбнулся еще сильнее и по-дедовски потрепал паренька по белокурой голове.

– Слышал, летописец? Все зависит от тебя. В начале было слово, так что и в конце должно быть слово.

Я пожал плечами.

– Да нет, Умирыч. Все проще. Выбор дается до последнего.

Я показал пальцем на горизонт. Туда, где недавно явилась звезда и где сейчас заканчивалось лунное затмение:

– Последнее слово просто еще не сказано.

podpiska.pochta.ru

ЗОИЛ

podpiska.pochta.ru

НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
Литературный критик. Родилась в Москве, окончила Московский педагогический государственный университет. Автор ряда публикаций в толстых литературных журналах о современной российской и зарубежной прозе. Руководила

PR-отделом издательства «Вагриус», работала бренд-менеджером «Реданции Елены Шубиной» и начальником отдела общественных связей «Российской газеты». Старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета.

ДЖОВАННИ ДЗОБОЛИ, МАРИНЬЯРА ДИ ДЖОРДЖО,
«Я РАБОТАЮ КРОНОДИЛОМ» («ГОРОДЕЦ»,
«ЛАСКА ПРЕСС»)

Очень милая история без слов, вдохновленная Чебурашкой и Кронодиллом Геней. Вернее, одной строчкой из этой сказочной повести. Номинация о том, как Гена просыпается, собирается и едет в зоопарк работать кронодиллом. Гена — кронодилл предельно социализированный, он спит в кровати и встает по будильнику, но видит во сне родной водоем. Он тщательно выбирает костюм, пальто и шляпу, пьет кофе и выходит на улицу большого города, чтобы добраться на работу. Потому что кто-то работает продавцом, кто-то офисным служащим, а он работает — кронодиллом, то есть практически собой, но все же не совсем. По пути он встречает знакомых и сталкивается с проблемами большого города — часом пик в метро, лужами у тротуаров, и некоторых прохожих обдают водой проезжающие автомобили. Но город состоит не из одних трудностей: в нем есть и свежие булочки из пекарни, и цветы для очаровательной билетерши, и зоопарк, конечно, в котором он, правда, вынужден ходить без одежды и приниживаться довольно глупой рептилией, то есть работая собой, он вынужден притворяться не тем, кто он на самом деле. Прекрасно нарисованная детская история с двойным дном и двойной адресацией.

МИХАИЛ ЛЕСЬНЕВСКИЙ, «НАН ЗАВЕЛИСЬ АВТОМОБИЛИ.
С ВЕТЕРКОМ ПО ИСТОРИИ МАШИН» («КОМПАСГИД»)

Двести пятьдесят лет истории автомобилестроения для детей в очень увлекательных рассказах и прекрасных иллюстрациях. А заодно — основные принципы механики и аэродинамики: очень интересный и полезный научпоп. Михаил Лесьневский начинает свой рассказ с дале-



ного 1769 года, когда Никола Жозеф Ньюто собрал первый самодвижущийся экипаж с паровым двигателем, способный развивать скорость 4 км/ч. Правда, торжественная демонстрация его закончилась позором — и первым зафиксированным в истории ДТП. А первое зафиксированное автомобильное путешествие (около 100 км из Мангейма в Пфорцхайм) состоится уже гораздо позже — в 1887 году. Примечательно, что управляла автомобилем женщина — жена изобретателя Карла Бенца Берта.

Есть в этой книге и рассказ о том, как изобрели шины, и какие инструменты приходилось постоянно возить с собой водителю на рубеже XIX–XX веков, и как прошли первые автогонки, а также история дорожных знаков и, конечно, описания самых интересных, редких или, наоборот, популярных моделей автомобилей разных стран и времен.

ВЕРОНИК МАССЕНО, ЭЛИЗ МАНСО,
«КИСТИ ДЛЯ ФРИДЫ» («ПОЛЯНДРИЯ ПРИНТ»)

ВЕРОНИК МАССЕНО, БРЮНО ПИЛОРЖЕ,
«БОЛЬШАЯ ВОЛНА» («ПОЛЯНДРИЯ ПРИНТ»)

Прекрасный арт-проект для детей, знакомящий их с миром искусства. Интересно, что начать автор и издатели решили не с самых ожидаемых художников вроде Пикассо, Ван Гога, Моне или Рафаэля и Микеланджело, а гораздо более нетривиально. В фокус их внимания попали Фрида Калло и Хонусай. Это не история искусства, это не лекции о создании шедевров и о том, как «следует» их понимать. Это книги, вдохновленные всемирно известными картинами. Книга о Фриде Калло кратко рассказывает и ее биографию — и учит не сдаваться и искать себя даже в самых трудных, самых безвыходных обстоятельствах. «Автопортрет с обезьянками»



раскручивает целый сюжет, фокус внимания в котором на какое-то время переносится с художницы на маленькую обезьянку Наимито, которая помогает своей хозяйке и ненадолго становится главной героиней.

Знаменитая гравюра Хонусая вдохновила автора книги на создание истории, написанной белым стихом, в традициях японской поэзии, о семейной паре Ани и Таро, которым море подарило долгожданного наследника. Через историю маленького Наони рассказывается не только о работе Хонусая, но и о культурных традициях Японии, вроде культа морского дракона или праздника Коинобори (праздник детей или «нарп-флаг»).

РАФФАЭЛЛА ПАЯЛИЧ, АЛИЧИЯ БАЛАДАН, «ДЕВОЧКА В ДОСПЕХАХ» («ГОРОДЕЦ», «ЛАСНА ПРЕСС»)

Перед нами притча итальянской писательницы и практикующего психотерапевта Раффаэлле Паялич. В ней рассказывается о маленькой девочке, которая пришла в магазин и тщательно выбирает для себя доспехи. Заинтригованный читатель напряженно вчитывается, пытаясь понять, что же такого опасного ее ждет. Оказывается, ничего особенного: просто взросление и жизнь. Каждый человек в раннем детстве, сталкиваясь с социализацией и общественными институтами, надевает на себя воображаемые доспехи, примеряет те или иные социальные роли. И эти доспехи если и не защищают человека от ударов и боли, то хотя бы немножко смягчают их. Или не позволяют выпустить наши подлинные эмоции наружу. Продавец магазина доспехов говорит, что готов сделать скидку и не брать плату за те дни, в которые девочка не будет носить доспехи. Только вот снимать их девочка не планирует...

ЕЛЕНА ХРАБРОВА, «ВЕРЛЕН»
(«ГОРОДЕЦ», «ЛАСКА ПРЕСС»)

Очень серьезная, хотя и детская история хамелеона Верлена, которому приходилось очень трудно, потому что он не такой, как все. Его обижали сначала в школе, а потом и на работе. Вся его жизнь сводилась к тому, чтобы стать невидимым, слиться с окружающей средой — потому что тогда тебя не замечают, тебя не трогают. История о несчастном существе, которое сначала — вдруг — во многом благодаря череде предшествующих неудач — наконец находит себя и место, где ему по-настоящему хорошо. А потом и вовсе совершает героический поступок. Не ради славы и признания, а потому, что не может поступить иначе, не может позволить злоумышленникам разрушить его идеальный мир. Очень добрая и красивая история о верности себе и настоящих решимости и отваге — и том, как важно не сломаться и найти свое место в жизни.

СЕРИЯ «СТРОЧКА ЗА СТРОЧНОЙ С СЫНОМ И ДОЧКОЙ»
(«НИЖНИЙ ДОМ АНАСТАСИИ ОРЛОВОЙ»)ЕЛЕНА МАМОНТОВА, «ДИНАЯ КЛАДЬ»
ЕЛЕНА МАМОНТОВА,
«КОГДА СОБИРАЮТСЯ В СТАЮ ДРАКОНЫ»
АНДРЕЙ УСАЧЕВ, «БОРОДАТЫЕ СКАЗКИ»

Прекрасная поэтическая серия для детей дошкольного возраста, вдохновленная и составленная известной детской писательницей и поэтом Анастасией Орловой. Прекрасно иллюстрированные книги с очень веселыми, практически «вирусными» текстами, которые запоминаются детьми если не с первого, то со второго прочтения точно. Вот, например, «Нога собираются в стаю драконы» — история о том, как пришедшие в гости дети, пока родители едят и общаются, в детской постепенно превращаются в дракончиков. И не их вина, что они большие и огнедышащие — уцелеть у детской нет ни малейшего шанса, как бы взрослые ни сердились.

*Вот праздничный стол наконец опустел,
И вечер закончен,
И дом уцелел.
Стаканы не бьются,
Шкафы не ломаются,
Драконы к родителям льнут-прижимаются.
Ведут себя тихо, почти безупречно
И смотрятся тоже почти человечно.*

«Диня кладь» того же автора — не менее забавная история о том, как ручная кладь в салоне самолета одичала и тоже стала себя вести совсем по-драконьи. Полет у пассажиров выдался нескучным, но закончилось все, как и положено добрым сказкам, хорошо.

Не нуждающийся в представлениях Андрей Усачев в своих «Бородатых сказках» рассуждает о важности и пользе бороды, которая не только красивая, но и очень функциональная:

*А как славно рыбакам в бороде –
Комары не кусают нигде.
И без прочной и большой бороды
Трудно вытаскать сома из воды.*

РЕМИ МАЗЕЛЬ, «ФУ!» («РИПОЛ ДЕТСТВО»)

Сколько же в мире противных, неприятных и неприличных вещей! Иногда кажется, что они существуют только для того, чтобы посмеяться. Но оказывается, это совсем не так! И все-все они для чего-нибудь нужны. Реми Мазель объясняет, зачем животные и люди ходят в туалет и как это используется в природе. Например, шар, который натит перед собой жук-навозник, применяется им очень неожиданно: «Своих малышей жук может посадить в этот шарик, и они никогда не будут голодными. На самом деле жук использует шарик как съедобную детскую коляску. Он берет с собой своих маленьких жучков, а если они проголодаются по дороге, могут заодно и перекусить».

Африканский народ химба строит себе из навоза небольшие дома, а зерна самого дорогого кофе в мире — «Нопи Люван» — как известно, перед обжаркой проходят через небольшого циветту. Собаки знакомятся по запаху, а кошки метят свои особенные места в доме, которые никому нельзя занимать. Все эти — и множество других — фактов позволяют ребенку понять, что в природе нет случайных и ненужных вещей и процессов, и, говоря затертыми фразами, что естественно, то, может быть, и неприлично, но точно не безобразно.

ФРАНК ПАВЛОФФ, «КОРИЧНЕВОЕ УТРО» («НОМПАСГИД»)

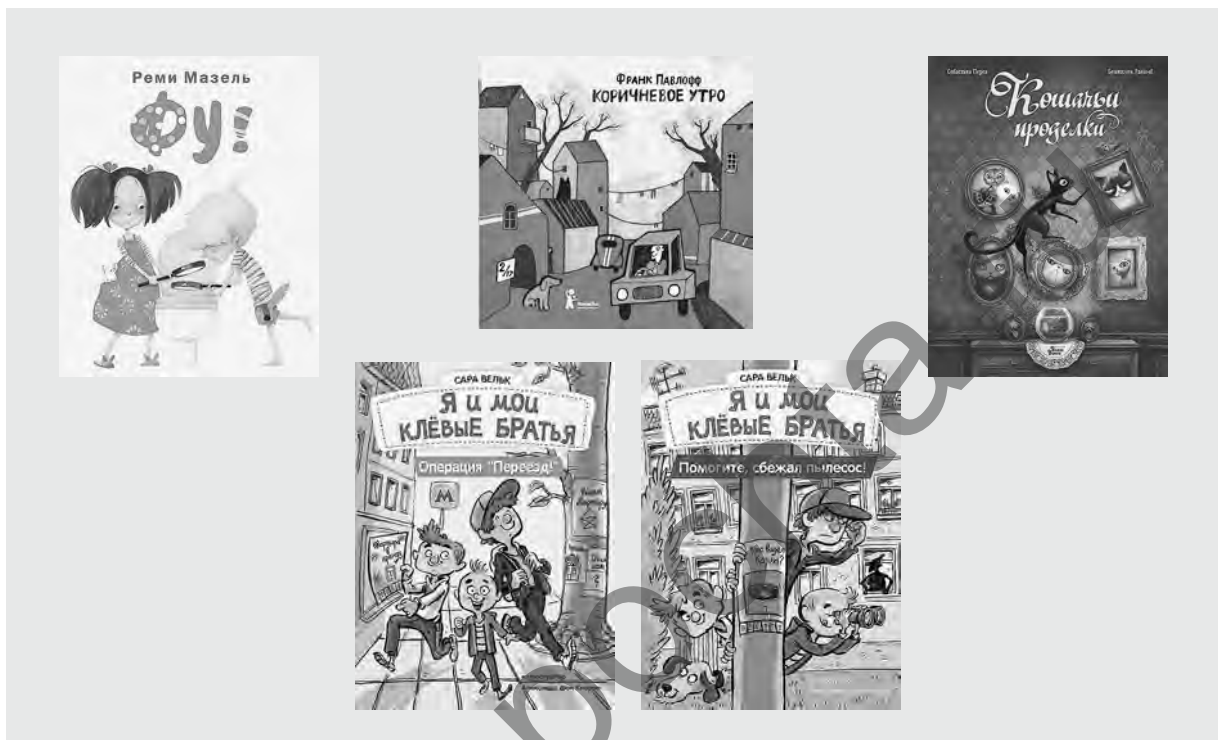
Нужно ли в разговоре с детьми избегать сложных тем? Например, фашизма? Может быть, и хотелось бы малодушно смолчать, но говорить на эти темы — надо. Говорить и объяснять. Книга Павлоффа «Коричневое утро», впервые изданная «НомпасГидом» в России в 2011 году, стала поистине культовой и выдержала несколько переизданий. И Россия здесь — не исключение. Крошечная детская новелла уже более двух десятилетий входит в список бестселлеров во Франции (продано свыше двух миллионов экземпляров).

Герои этой книги — два приятеля, на глазах которых меняется режим в стране, когда у власти оказываются Коричневые. Они наблюдают все эти изменения, не пытаясь никак действовать, считая, что если не выделяться, опасности быть не может. Просто нужно молчать и сменить домашних питомцев — на коричневых. Но и это, как оказалось, не дает никаких гарантий: «И даже если вы недавно заменили своего старого питомца на нового — коричневого, это еще не значит, что у вас изменился склад ума, сказали они. <...> И я хорошо запомнил его последние слова. Даже если лично у вас не было несоответствующей собаки или несоответствующего кота, но кто-то из вашей семьи — отец, брат или двоюродная сестра, например, держал такое животное, пусть даже раз в жизни, вы рискуете столкнуться с серьезными неприятностями».

Иллюстрации к русскому изданию — очень соответствующие духу и настроению книги — нарисовал Леонид Шмельнов.

**СЕБАСТЬЯН ПЕРЕЗ, БЕНДЖАМИН ЛАКОМБ,
«КОШАЧЬИ ПРОДЕЛКИ» («ВИЛЛИ ВИННИ»)**

Пятнадцать историй о кошачьих проделках Себастьяна Переза в прекрасном переводе Михаила Яснова с иллюстрациями Бенджамина Ланомба — это уникальное комбо: три мастера своего дела сделали книжку о котиках, не поддаваясь обаянию невозможно. Один из котов



мечтает о покорении вершин и карабкается на самые верхние ветки дерева, другой пытается целиком уместиться в небольшой корзинке, третья не всегда удачно охотится на насекомых, а четвертый — с говорящим именем Моцарт — бегаёт по клавишам фортепьяно. Perez придумывает связанные с котами легенды, например, о появлении традиционных японских статуэток манэки-нэно, которые ставят при входе в лавки гадалок, магазины и рестораны, чтобы приманивать удачу.

«Кошачьи проделки» — это иллюстрации, которые хочется разглядывать, и тексты, которые с равным удовольствием читают и взрослые детям вслух, и сами дети.

САРА ВЕЛЫК, СЕРИЯ «Я И МОИ КЛЕВЫЕ БРАТЬЯ»: «ПОМОГИТЕ, СБЕЖАЛ ПЫЛЕСОС!» И «ОПЕРАЦИЯ «ПЕРЕЕЗД»» («СТРЕКОЗА»)

Веселые книги для самостоятельного чтения: легкий и увлекательный сюжет, хорошие иллюстрации, крупный шрифт. Три брата — Генри, Бела и Бен — живут очень нескудной жизнью. У них миллион веселых игр и совсем «взрослых» занятий вроде поиска вора, укравшего кассу в киоске Лоло, который торгует фигурками монстров. Или поиска сбежавшего робота-пылесоса: его вывел на улицу дрессировать Бен, но случайно упустил. Или и вовсе поиска новой квартиры — побольше, а то родители почему-то совершенно не собираются нигде переезжать.

Если вы ищете назидательную литературу с четко проговоренной моралью, эта серия точно не для вас. А вот в поисках легкой, доброй, очень смешной и увлекательной истории не проходите мимо: у детей младшего школьного возраста книги вызывают огромный интерес и читаются запоем и везде: в транспорте, за обедом, на ходу и перед сном.



ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, «КАК ПОЙМАТЬ ТИШИНУ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ ПРО УЛЬКУ» («КОМПАСГИД»)

Проза Евгении Чернышовой — писателя, переводчика, лауреата Норнейчуковской премии — идеально подходит для чтения взрослыми детям вслух. Дети узнают в этой прозе себя, свои чувства и эмоции, а родители вспоминают свое уже немного подзабывшееся детство. Героиня этого сборника — шестилетняя Улька, жизнь которой полна чудес и приключений. Месяц лета — это очень, очень долго, когда тебе всего шесть: в него столько всего может уместиться. Шесть лет — это год до школы, это время любопытства и миллиона вопросов, которые можно задать родителям, но лучше найти ответы самостоятельно, потому что личный опыт гораздо интереснее. Поэтому надо устроить демарш в детском саду, чтобы поставили в угол, в котором все наказанные отколупывают и едят мел, или оставить божью коровку зимовать в спичечном коробке, чтобы выпустить весной посмотреть весь мир, или познакомиться с таинственной Панацеей, которая, говорят, лечит от любых болезней — даже синяков. Евгении Чернышовой удаются оригинальные, неожиданные сюжеты из типичного, всеми узнаваемого детства, а еще — очень искренняя и взрослая интонация в разговоре с детьми. Дети ее улавливают безошибочно — и поэтому доверяют автору абсолютно.

ДАГМАР ГАЙСЛЕР, СЕРИЯ «ЧЕРНИЛЬНЫЕ ЗАМАРАШКИ»:
«НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ», «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПИРАТСКИЙ
КОРАБЛЬ» («СТРЕКОЗА»)

Немецкая писательница и художница Дагмар Гайслер знает детей как мало кто. Она ведет группы по арт-терапии и помогает младшим школьникам прорабатывать через рисунки разные жизненные ситуации. Видимо, поэтому дети в ее книгах такие живые и настоящие, а картинки — такие притягательные. «Чернильные замарашки» Гайслер не только написала, но и проиллюстрировала, а перевела на русский уже знакомая нам по книге про Ульну Евгения Чернышова. В этих книгах иллюстрации и текст прекрасно дополняют друг друга, создают уникальную атмосферу и настроение. Эти повести — о приключениях учеников 3 «А» класса, которых называют «чернильными замарашками». Каждый ребенок здесь — совершенно живой герой, в которого веришь, не просто сюжетная функция или условный типаж. Они далеко не всегда сходятся во взглядах, да и поступают не всегда «правильно», но именно поэтому в них веришь безусловно. Гайслер искренне и правдоподобно изображает не только микромир отдельно взятого класса, но и взаимоотношения этого микромира с миром взрослых — учительницы или библиотекаря. Очень легко и увлекательно читающиеся, но при этом совсем не легковесные книги — хорошая современная детская литература.



НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ НОН-ФИКШЕН

ДЖОН СЕЛЛАРС, «ФИЛОСОФИЯ БЕЗМЯТЕЖНОСТИ.
ТЕТРАФАРМАНОС ЭПИКУРА» («АЛЬПИНА НОН-ФИКШН»)

Преподаватель философии Лондонского университета и младший научный сотрудник Колледжа Вольфсона (Оксфорд) Джон Селларс написал небольшую, но очень важную и интересную книгу об эпикурейской философии. Согласно расхожему мнению, эта философия базируется на принципах гедонизма и ставит во главе всего наслаждение. Но есть нюанс. Дело в том, что наслаждение Эпикур понимал совсем не так, как может показаться на первый взгляд, смысл его учения — в привычке довольствоваться малым и отназе от лишнего — атараксии, или безмятежности. Селларс подробно объясняет суть учения Эпикура — тетрафарманоса (четвероленарствия), рассказывает, в чем была суть разногласий между стоиками и эпикурейцами («Если стоики выступали за воспитание добродетели и считали, что природа устроена разумно и в ней царит порядок, то эпикурейцы отстаивали идею удовольствия и видели окружающий мир порождением случайности и хаоса»), и наконец подводит нас к главе с интригующим названием «Объяснение всего».

Тетрафарманос — это принципы эпикурейской философии: не нужно бояться богов, не нужно беспокоиться о смерти, благо в отказе от лишнего и наносного легко достижимо, а зло легко переносимо.

Изменить общество при помощи разума невозможно, и зло непобедимо. Задача истинного философа — научиться не замечать хаос и обрести гармонию. Как тут не процитировать блерб Ленина на роман Горького «Мать»? «Очень своевременная книга».



ВИКТОР ФРАНКЛ, «О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ»
(«АЛЬПИНА НОН-ФИКШН»)

В эту книгу вошли впервые публикуемые на русском языке три лекции, которые всемирно известный психотерапевт и философ прочитал в 1946 году в Народном университете Вены. Вопрос о смысле жизни — ключевой для жизненной философии Франкла, основателя логотерапии (исцеления смыслом) и Третьей венской школы (после психоанализа Фрейда и индивидуальной психологии Адлера). В 1942 году Виктор Франкл с семьей были депортированы в концентрационный лагерь Терезиенштадт, где он вел тайную работу с заключенными, помогая им преодолеть первоначальный шок и поддерживая на ранних этапах пребывания в лагере. От того, сможет ли узник обратиться к смыслу жизни, зависел результат психотерапии. По мнению Франкла, в стрессовых ситуациях вопрос, который нужно себе задавать, звучит не как «Чего я хочу от жизни?», а как «Чего жизнь хочет от меня?». По сути, это и есть цель, ради которой стоит жить, тот самый образ будущего, который есть, например, в лагерной прозе Солженицына и которого нет у Шаламова. Концлагерь — ужасающий опыт, который обнажает человеческую самость и позволяет встретиться с самим собой, эта встреча зачастую пугает, но она необходима. «Удовольствие само по себе никоим образом не может придать смысл бытию... Счастье не может, не должно и не смеет быть целью, оно лишь последствие».



РАССЕЛЛ ДЖОНС, «КАК РАБОТАЮТ НАШИ ЧУВСТВА» («СИНДБАД»)

Помните бессмертную цитату из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»: «Бодры» надо говорить бодрее, а «веселы» — веселее? Вот книга Джонса именно об этом: как веселье сделать веселее, еду — вкуснее, запахи — ярче, а физические упражнения — легче. И все это при помощи сенсорики. Эта книга, по сути, и есть сборник сенсорных рецептов по улучшению повседневного качества нашей жизни. Почему даже дешевое вино, которым мы наслаждаемся в отпуске, кажется нам приятным и вкусным? А в повседневной рутине мы чувствуем совсем иной вкус: «Вино осталось точно таким же; это все остальное изменилось. Вы уже не расслабляетесь в приятном тепле послеполуденного провансальского солнца. Вас больше не окружают те звуки, запахи и краски, которые создавали очарование, отложившееся в памяти; а ведь именно окружающая обстановка и эмоциональное состояние изменили тогда ваше восприятие и сделали вино таким вкусным». Случайные на первый взгляд факторы меняют наше восприятие тех или иных вещей: цвет кружки может влиять на вкус напитка, а цвет стен в комнате — на ощущение времени. Хруст вафельного рожка с мороженым воспринимается нами только на слух — если мы не слышим его, значит, он не хрустит. Джонс показывает, как с помощью вполне нехитрых действий можно создать себе более комфортные условия жизни и добиться более ярких ощущений. Наши органы чувств работают комплексно: осязание оттеняет вкус, а зрение — запах. Если их задействовать в едином синестетическом восприятии, чувства способны усиливать друг друга — это называется супераддитивным эффектом. Рассел Джонс показывает, как им можно пользоваться.

САРА БЪЯЗИНИ, «МОЯ НЕБЕСНАЯ КРАСАВИЦА.
РОМИ ШНАЙДЕР ГЛАЗАМИ ДОЧЕРИ»
(«РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНА ШУБИНОЙ»)

Не столько автофикшен, сколько исповедь французской актрисы Сары Бьязини, которую она пишет для своей дочери Анны, рассказывая ей о собственной матери — кинозвезде Роми Шнайдер. Она умерла, когда Саре было всего пять, потеряв за год до этого своего четырнадцатилетнего сына. Эта книга — не сведение счетов, как это часто бывает (вспоминается «Моя мать Марлен Дитрих» Марии Рива), и не байопик. Это неспешный и очень искренний путь к себе: здесь и воспоминания, и размышления о матери и о ролях и сценариях, и отповедь сплетникам, и разговор с совсем маленькой дочкой. Книга, которую равно интересно будет читать и поклонникам Шнайдер, и тем, кто мало о ней знает, — в этом случае это будет начало пути знакомства с многочисленными ее ролями.

Составитель серии «На последнем дыхании», в которой вышла книга, Сергей Николаевич пишет: «Книга Сары Бьязини — образец “новой чувствительности” в современной литературе. Открытые эмоции отныне не в почете. Все резкости намеренно приглушены. Никаких жестких противопоставлений. Все построено на полутонах. Ключевые слова — “деликатность”, “сдержанность”. И в этом тоже слышится тайная полемика со страстями, которыми были переполнены фильмы и жизнь ее матери. Почти ничего земного, все только небесное».

ЧАРЛЬЗ ХАРРИС, «ПИТЧ ВСЕМОГУЩИЙ»
(«АЛЬПИНА НОН-ФИКШН»)

Практическое руководство по подготовке и проведению питчингов, которое поможет избежать типичных ошибок новичков и доказать, что ваш сценарий достоин экранизации. Автор — английский писатель и сценарист с большим опытом — рассказывает о том, что самого по себе блестящего и проработанного сценария недостаточно, потому что за несколько минут его трудно оценить адекватно. Даже идеальный сценарий нуждается в качественном, кратком и интересном представлении. Фактор случайности, конечно, никто полностью исключить не может, но все-таки у человека подготовленного гораздо больше шансов на успех в этом деле. Как представить проект художественного фильма и чем он отличается от питча документального проекта? Как правильно написать сценарную заявку? Как выйти на контакт с продюсером? Как реагировать на вопросы и замечания? «Питч всемогущий» поможет вам четко понять алгоритм действий и тем самым снимет как минимум половину поводов для волнений и сомнений на этапе подготовки: «Много лет тому назад, как гласит предание, два сценариста вошли в офис продюсера в Голливуде и продали сценарий, сказав всего три слова: “Челюсти в носмосе”. Сценарию суждено было стать блонбастером под названием “Чужой” (Alien), а этот случай вошел в мифологию Голливуда как идеальный питч».

НОВИНКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

МАЛИНА ФЕРДЖУХ, ТРИЛОГИЯ «МЕЧТАТЕЛИ БРОДВЕЯ» («КОМПАСГИД»)

После «Ужина с Нерри Грантом» и «Танца с Фредом Астером» вышел «Чай с Грейс Нелли». Так что если вам близка эстетика послевоенного Нью-Йорка, Бродвея, джаза и кино, «Завтрака у Тиффани» и «Всего этого джаза», вас ждет 1400 страниц чистого удовольствия. Истории людей, мечтающих о славе — антерсной, танцевальной, модельной. Атмосфера послевоенного мира, кажется, таит в себе безграничные возможности. А еще — диалоги, множество диалогов и минимум описаний, романы Малины Ферджух — это практически пьесы, в которых ничего не «объясняется», а все происходит прямо на глазах у изумленной публики. Главное — успеть, не выпасть из вихря событий и впечатлений. В первом романе один из главных героев — семнадцатилетний Джослин — приезжает в Нью-Йорк и случайно оказывается в женском пансионе «Джибуле», где его окружают яркие и взбалмошные девушки, мечтающие о счастье. Эти романы полны аллюзий на золотую классику голливудского кинематографа, а названия глав — песни того времени, позволяющие включить дополнительные органы чувств при чтении.

Герои — старшие подростки или совсем молодые люди, которые уже живут отдельно от семей и сами зарабатывают себе на жизнь, не предавая мечту, и потому «Мечтатели Бродвея» — это еще и романы воспитания. Путь героев не будет простым: пианист Джослин вынужден работать лифтером, танцовщица Манхэттен — ассистентной по костюмам, актриса Пейдж играет в радиоспектакле и остается невидимкой, а Грейс Нелли, головокружительная карьера которой еще на самом старте, может только мечтать о независимости. С первого раза получится не у всех, но недаром Нью-Йорк — это город возможностей.



ДЖОАННА РЕЙНОФФ, «МОЙ ГОД С СЭЛИНДЖЕРОМ»
(«РИПОЛ КЛАССИК»)

Роман в жанре автофикшен американской писательницы и мемуаристки, повествующий о годе работы в одном из старейших литературных агентств Нью-Йорка Harold Ober Associates. Книга, приоткрывающая перед читателем мир издательского процесса и показывающая его человеческое лицо. В этом литературном агентстве в конце 1990-х царят глубокие восьмидесятые: документы печатаются на машинке, а интернет и вовсе под запретом. Зато сюда звонят и приходят настоящие легенды современной литературы, например, детская писательница Джуди Блум, автор «Питера Обыкновенного», или... Сэлинджер. Молодая ассистентка должна отправлять стандартный ответ на сотни писем поклонников знаменитого затворника, но в некоторые из этих историй трудно не вовлечься — и она вступает в переписку с этими людьми, на которых повлияли роман «Над пропастью во ржи» или «Девять рассказов». Для нее сначала возникает Сэлинджер-легенда, потом Сэлинджер-человек, и только спустя год работы она со страхом открывает для себя Сэлинджера-писателя. Это роман о поиске себя и своего предназначения, о попытках осознать, что по-настоящему нужно тебе самому, когда судьба, кажется, складывается вполне определенным образом, и том, как литература способна изменить жизнь не только писателя, но и миллионы людей по всему миру.

«Назалось, в моей жизни теперь не существовало ничего и никого, кроме Сэлинджера; она превратилась в цитату из рассказа "Голубой период де Домье-Смита". Рассказчик, учитель заочной художественной школы, где обучение ведется по переписке, пишет письмо своей талантливой ученице и рекомендует ей купить хорошие масляные краски и кисти



и посвятить себя живописи. «Занятия искусством не принесут вам много бед; худшее, что может случиться, — вы будете постоянно испытывать легкое недовольство жизнью». Могла ли я допустить, чтобы со мной случилось то же самое? Готова ли я была постоянно испытывать легкое недовольство жизнью?»

ВЯЧЕСЛАВ НУРИЦЫН, «У МЕТРО, У «СОКОЛА»» (LIVEBOOK)

Неожиданный детективный роман от известного литературного критика эпохи 1990-х — дань канону советского детективного романа. Этот текст на первый взгляд действительно словно перенесен в настоящее из 70-х годов прошлого столетия. Но только на первый взгляд. Потому что на каждой его странице скользит едва уловимая, но столь популярная сейчас метаирония — не с целью деконструкции или обличения, скорее, с целью надстраивания дополнительного яруса смыслов для читателя вдумчивого и внимательного.

Детектив — это прекрасное упражнение в жанре для человека, видящего сюжетный и структурный скелет литературного произведения, а ретродетектив — это возможность избежать слегка навязшей в зубах повести и актуалочки.

Упражнение в жанре определенно удалось: загадка придумана, интрига создана уже на первых страницах, герои вызывают симпатию и интерес, сложная детективная система не просто работает, но живет по своим законам — и вот перед нами возникают районы Динамо, Сокола, Аэропорта в позднесоветское время. В интервью Владиславу Толстову для «Лабиринта» Вячеслав Нурицын рассказывает: «Один мой друг, прочитав книгу, даже пеняет мне за это: ламповый текст о сомнительной эпохе.

Мало хорошего можно объективно сказать о советских семидесятих. А ведь у меня не только “ужасные злодеяния”, как вы выразились, описаны, но и грустная повседневная жизнь, две коммуналки, бедные люди, дефицит, двуличие... Однако ностальгическая интонация все это побеждает. <...> Я писал об эпохе, в которой лично мне было хорошо. Потому и писал о ней: это все то же бегство от реальности».

МАТИАС ЭНАР, «ЕЖЕГОДНЫЙ ПИР ПОГРЕБАЛЬНОГО БРАТСТВА» (POLYANDRIA NO AGE)

В новом романе известный французский писатель, исследователь и переводчик, лауреат Гонкуровской премии Матиас Энар вновь поражает читателя сложно организованным, интертекстуальным, тонким, но при этом очень смешным романом. В нем почти тридцатилетний аспирант-антрополог едет из Парижа изучать французскую глубинку и селится в небольшой деревне Пьер-Сен-Кристоф. Начинается роман как обычный дневник молодого человека, фиксирующего мало чем примечательные события: встречи с разными людьми, прогулки, план исследовательской работы, борьба с обитателями дома улитками и червяками. А на фоне этого перед нами разворачивается масштабное полотно исторических, экономических и социальных связей региона. И к середине романа к голосу рассказчика добавляется целый хор разных, временами весьма странных голосов местных жителей. Из спокойного повествования мы вдруг перемещаемся в раблезианский хронотоп, где души персонажей меняют тела (душа аббата переселяется в новорожденного кабана), где юноша с ментальными расстройствами становится провидцем (традиция юродивых), а мэр сельского поселения оказывается не только Вергилием, открывающим герою мир болот Пьер-Сен-Кристофа, но и директором похоронного бюро. Вся эта вереница персонажей являет нам неумолимое и неостановимое колесо Сансары, выйти из которого оказывается невозможным.

«Вернулся домой и уже подумывал отменить ужин с мэром Марсьялем — больше всего хотелось сидеть с котами в тепле и читать (и жрать разогретую в микроволновке фасоль), — но не успел: раздался стук в окно. Я чуть не умер от страха, да тут признал народного избранника-гробовщика, который решил — вот те на! — забрать меня из дома. Так что пришлось ехать к нему ужинать (он даже отвез меня назад). Тожэ опыт. Очень стыдно: не смог съесть закуску. Запеканка из нуриной крови. Господи, видела бы это мама, сразу бы в обморок упала. Плотный, гладкий блин накашечного цвета — я только попробовал, — малость железом отдает. (Поневоле вспомнил профессию хозяина и содержимое его холодильников — жуть!) Есть кровь! Просто мурашки по коже. Во всяком случае, этот примитивный предок черного зельца здесь называется “санкет”, и я с ностальгией вспомнил Арьеж. “Очень просто готовить!” — сказала Моник. Отрезаем нурице голову, кровь стекает в миску. А потом запекаем. Ага-ага. Марсьяль и его жена Моник хотели познакомить меня с местными деликатесами, и тут я их слегка подвел, но потом реабилитировался, оценив по заслугам вкуснейший паштет с пряностями, который здесь просто называют “фаршировкой” (мангольд, щавель, шпинат, яйца, шкварки, специи — взять на вооружение!), и белую фасоль, так называемый “Болотный может”. (Съесть вместо моей банки фасоли их “Можётт”, в общем-то, что в лоб, что по лбу. Опасная тут почва



в плане жратвы.) Не так чтобы сильно изысканно, но калории зашкаливают. “А зайти вы неделю назад, — сказал Марсьяль, — были славные дрозды”. Но в такой мороз кто пойдет на охоту. Да, можно сказать, чудом пронесло. Это напомнило мне ягненочка из Монтаю, которого я по неведению обрел на смерть, — пастух сказал, чтоб я выбрал ного-нибудь из стада, и я показал на самого кроткого, не зная, что назавтра снова увижу его за обедом — уже на вертеле».

РОКИ ЛАРРАКИ, «КОМЕМАДРЕ» (POLYANDRIA NO AGE)

По-настоящему жуткий в своей правдоподобности триллер от испанского писателя Роки Ларраки, сына психиатра, клиника которого находилась в доме, где жила семья врача. Увиденное, а точнее будет сказать, насмотренное в детстве превратилось в пугающий и достоверный роман о границах науки и этики, медицины и религии.

Начало XX века. Клиника «Темперли» обещает неизлечимо больным пациентам чудодейственную сыворотку, которая спасет их от смерти. Отчаявшиеся люди идут на все ради сохранения жизни, но получают плацебо и сокрушенные вздохи врачей: индивидуальная особенность организма — сыворотка не действует. Обычная мошенническая схема ради наживы на умирающих? Конечно, но лишь отчасти. Никто не знает, что «Темперли» — тайная лаборатория для проведения запрещенных медицинских экспериментов на (пока еще) живых людях. Отчаявшиеся окончательно, многие из них соглашаются перед смертью послужить науке: есть теория, что обезглавленное тело еще 9 секунд сохраняет сознание. Врачи клиники решают узнать, что чувствует человек в эти 9 секунд. Для этого нужно всего лишь отрубить голову так, чтобы речевой аппарат оставался невредимым. А растение комемадре

с Огненной Земли позволит избавиться от множества трупов людей, согласившихся на эксперимент...

Вторая часть романа отделена от первой целым столетием — здесь, в начале XXI века, действует правнук одного из врачей клиники Себастьян и его бывший возлюбленный, энзальтированный художник, завещавший мумифицировать свое тело и превратить его в арт-объект. Та же дилемма, то же противоречие между наукой, искусством и этикой возникают перед нами, но совершенно под другим углом зрения. И снова в центре внимания вопрос о пересечении границы между жизнью и смертью. А дневник прадеда Себастьяна, доктора Нинтаны, помогает сюжетно связать две романские линии воедино. Сильная, хлесткая, провокационная психологическая проза.

ОЛЬГА КРОМЕР, «ТОТ ГОРОД» («РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНА ШУБИНОЙ»)

Роман в жанре альтернативной истории, напоминающий подходом к работе с историческим материалом прозу Владимира Шарова. Тот случай, когда, по словам Джулиана Барнса, «писатель говорит правду через ложь, в то время как все другие лгут, говоря правду». Роман охватывает период с 30-х до 80-х годов прошлого столетия. Старшеклассник Андрей знакомится с женщиной Ольгой Станиславовной, которую все зовут Осей, и узнает, что она провела семнадцать лет в лагерях. Рассказывая о своей жизни, Ося раскрывает мальчине тайну, которую пронесла через всю жизнь: в тайге есть тайный город, основанный теми, кому удалось бежать из лагерей. Об этом месте Осе когда-то рассказала в тюрьме женщина, но Ольга Станиславовна так и не отправилась на его поиски, а ее друзья — нашли. И не вернулись. Теперь его может найти Андрей. «Тот Город» — роман о встрече советского мальчика с людьми, которые почти полвека живут в отрыве от окружающей социально-политической реальности, о том, как сила духа и жажда жизни вступают в борьбу с государственной машиной, о стойкости и любви в античеловеческих условиях, о том, как частное вступает в борьбу с общим.

«Берегите свою душу. Не опускайтесь. Ниогда ничего не просите. Требуйте, настаивайте, пользуйтесь, если возможно, но не выпрашивайте. Не унижайтесь. Человек способен выдержать многое, если он душевно здоров. Никакая пайка не стоит душевного надлома. Но и пустая гордость не стоит дополнительной пайки, дополнительной возможности провести день в тепле».

САША НИКОЛАЕНКО, «МУРАВЬИНЫЙ БОГ» («РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНА ШУБИНОЙ»)

Лето. Мальчик живет в деревне с бабушкой. Максимально простая и максимально понятная завязка для романа, мгновенно вызывающая в памяти мириады обрывков воспоминаний, чувств, впечатлений. Саша Николаенко умеет воздействовать прямо на читательское подсознательное, ловить его внутренние вибрации и создавать удивительную ритмическую прозу, которая работает с ними в унисон. Это роман о детстве, которое оказывается беззащитным перед обвиняющей старостью: бабушка, ругая мальчика, вновь и вновь обвиняет сироту в гибели его родителей. Николаенко создает роман-матрешку. Мальчик Петруша —

царь и демон мира насеномых — он волен казнить и миловать, давить или щадить. Но его жизнь, его детство в свою очередь зависят от взрослого — бабушки. На этой иерархии построен текст, и она же выносит события романа за пределы текста, в большой мир. Несмотря на трагичность описываемого в книге, она удивительным образом несет в себе не очерствение, а надежду; не тьму, а свет. И это означает, что детство — с его надеждами, дружбой и солнцем — все-таки побеждает.

«Чирикая, стуча, мыча, бренча, жужжа и лая, день погружался в сумерки протопленной наленим зноем ночи; меж флосами проплыл Добжанский кот; фиалки раскрывали синие глаза, дышало ими. Низко, неподвижно над почерневшими бархотками висели тучки мошарья. Открылись звезды. Авиалинии чертили меж небесных свои короткие меловые пути, и синева развеивала их и превращала в перья от гигантских нуриц.

Петруша посмотрел на небо. Две белых полосы, очерченные отблеском заната, пересеклись и постепенно растворились в глубине над ним.

В саду запахло колдовским и тайным, все ближе на тропинку выползали тени из цветов; лягушка — шлеп из-под ноги ожившей темнотой, и ужас остановит сердце. Все тише голоса старух, присевших лавочкой у дома, как будто с каждым шагом уменьшался звук, как ручку радио крутить».

АЛИССА НАТТИНГ, «СОЗДАНЫ ДЛЯ ЛЮБВИ» («ЛАЙВБУН»)

Брак с эксцентричным гением-мультимиллионером предполагает изоляцию от общества. Героиня романа «Созданы для любви» Хейзел бежит от мужа, который подчинил свою жизнь высоким технологиям и в стремлении контролировать свою жену задумался о вживлении ей в мозг чипа для чтения мыслей. Сбежав, Хейзел укрывается в трейлере у почти восьмидесятилетнего отца и его силиконовой женщины. Но отец совсем не в восторге от нового соседства: он убеждает дочь, что измены, абьюз и прочие странности вполне можно стерпеть от очень (нет, не так: очень-очень-очень) богатого мужа.

«— Типа того. Как файлообменник. Чип у меня в голове соединялся бы с чипом в его голове и наоборот. Мы бы слились в одно. Первая в истории пара, соединенная нейросетью.

— Боже. И этим сейчас занимается молодежь? Как хорошо, что я уже по дороге на выход. Слияние мозгов. Не для меня. Мы с твоей мамой даже к французским поцелуям относились с подозрением».

После десяти лет изоляции и тотального контроля Хейзел наконец обретает свободу физическую, но получится ли у нее избавиться от страха преследования? Обманчиво легкий, написанный с тонким юмором роман на очень серьезные темы свободы личности, отношений в семье, личного выбора, абьюза и психологического насилия, психологических и сексуальных девиаций — и многие другие.

МЕГ ВУЛИЦЕР, «ЖЕНА» («ЛАЙВБУН»)

Один из важнейших феминистских романов нашего времени, который лег в основу фильма с Гленн Клоуз в главной роли. Джоан Настельман много лет живет в тени своего гениального мужа — писателя Джозефа Наслмана. Даже имена — максимально похожие — Джо и Джоан — словно



созданы для того, чтобы сделать жену невидимой, приложением к знаменитому мужчине. Терпению и смирению Джоан приходит конец внезапно — в бизнес-классе самолета, который везет супругов на вручение Джозефу Нобелевской премии по литературе. Казалось бы, не совсем подходящий момент для принятия таких решений. Но у этого сорокалетнего брака, как у любого долгого и бурного брака талантливых людей (а то, что талантливы тут оба, сомневаться не приходится), есть свои тайны. Нание скелеты скрывают в своем шкафу супруги, читателю только предстоит узнать. Но это — лишь одна из сюжетных приманок, даже если благодаря фильму сюжет вам знаком, роман стоит прочтения. Это книга о природе творчества и подлинном таланте, а также патриархальной инерции общества, которое готово признать настоящий гений только за мужчинами; о воспитании и нормах поведения, закладываемых в раннем детстве, а еще о смелости и верности себе и своему призванию: «Я знала, что талант не исчезает с лица Земли просто так, не разлетается на частицы и не испаряется. У него долгий период полураспада; возможно, в конце концов я смогу им воспользоваться. Смогу взять частицы всего, что видела и делала, всего, что у нас было, и сотворить из них что-то подлое или прекрасное, полное любви или сожаления, и, может быть, даже подписать это своим именем».

ФЛАНН О'БРАЙЕН, «УПЛЫЛИ-ДВЕ-ПТИЦЫ» («ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»)

Новый, максимально близкий к оригиналу и комментированный перевод одного из главных ирландских романов XX века. Мы все знаем «Улисс» и тексты Оскара Уайльда, но имя Фланна О'Брайена незаслуженно в тени для российского читателя. Меж тем роман, увидевший свет в 1939 году

благодаря Грэму Грину, нашедшему его в самотене, включен The Guardian в список 100 лучших англоязычных романов всех времен. Среди поклонников этого текста Хорхе Луис Борхес, Энтони Берджесс и Джеймс Джойс (любопытно, что в этом романе множество аллюзий и на «Улисс», и на «Дублинцев»).

Некий студент-литератор рассказывает нам три истории: о Пуне Манфеллими, «представителе бесовского класса», Джоне Феррисни, который оказывается выдуманной автором вестернов, и Финне Мак-Нуле, легендарном герое Ирландии. Связывает все эти разрозненные истории линия самого студента-нарратора. Роман подробно исследован литературоведами и разъят на множество слоев и вложенных в него культурных пластов: это литературная головоломка, которую приятно разгадывать неспешно, с обязательным чтением комментариев. Роман, маскирующийся под модернистский, на самом деле намного обогнал свое время: переводчик Шаши Мартынова называет его постпостмодернистским романом-балаганом: «Энн Нлиссмен, одна из первых исследователей текстов О'Брайена, насчитала в романе около тридцати шести разных литературных стилей и сорок два включения сторонних текстов. Соединив все это многоголосье в слитную фантасмагорию, О'Брайен ухитрился выстроить причудливый лабиринт, где читателю предоставляется ловить отголоски и отблески целой литературной эпохи, в которой довелось жить автору».

ЭМИЛИ НАРПЕНТЕР, «ДЕВУШКА ЖИМОЛОСТИ» («СИНДБАД»)

Готический роман о родовом проклятии, передающемся по женской линии — роман-метафора: за ошибки отцов (здесь — матерей) приходится расплачиваться их детям. Накануне своего тридцатилетия героиня узнает, что их семья проклята: женщины внезапно умирают в тридцать, и причины этого никому неизвестны. Надо сказать, жизнь Алтеи Белл и без этого знания была далекой от безмятежности: ранняя потеря матери, равнодушный отец, который теперь при смерти, брат с женой, выставившие ее из родного дома, борьба с зависимостью в реабилитационном центре. И все же просто сдаваться смерти она не намерена. Попытки докопаться до истоков зла приводят ее — а вместе с ней и читателя — к истории ее прабабушки Джин в тридцатые годы прошлого столетия в Алабаму, где царит ну-нлукс-нлан, а неугодных жен и дочерей запирают в психушку.

«Дождись ее, дождись девушки-жимолостницы. Думаю, она найдет тебя. А если нет, найди ее сама», — говорит перед смертью мать героини. Что это значит, совершенно непонятно, но постепенно Алтея узнает, что Джин делала лучшее вино из жимолости в округе...

«Девушку жимолости» трудно назвать триллером. Впрочем, это и не психологический роман. Скорее, магический реализм, заставляющий читателя заглянуть в прошлое и увидеть, насколько близко от нас «темные времена».



КОРОЛЕВЫ, МЕЧТАТЕЛИ И ВОЛЧИЦЫ



ДЕНИС ЛУНЯНОВ
Родился в Москве.
Журналист. Ведущий
подкаста «АВТОРизация»
о современных писателях-
фантастах, внештатный
автор радио «Нига»

и блога «ЛитРес: Самиздат».
Сценарист, монтажер
и диктор радиопроентов
на студенческой метеопло-
щадке «Пульс», неза-
висимый автор художе-
ственных тенстов.

ПРЕДЛАГАЕМ ОБЗОР ТРЕХ НОВИНОК ЭТОГО ГОДА:
СБОРНИКА «КОРОЛЕВА ЛИР» ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ,
КНИГ «ТОЧКА РОСЫ» АЛЕКСАНДРА ИЛИЧЕВСКОГО
И «ДОМ ВОЛЧИЦ» ЭЛОДИ ХАРПЕР. РАЗБИРАЕМСЯ, ЗАЧЕМ
КОРОЛЕВА ЛИР БРЕЕТСЯ НАЛЫСО, КАК ПОМЕСТИТЬ
ВСЕЛЕННУЮ В ПАКЕТИК СУПА И ЧЕМ ПОМПЕИ
НЕ УСТУПАЮТ МЕГАПОЛИСАМ.

Как в новой сказке

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ, «КОРОЛЕВА ЛИР»
(«АЛЬПИНА.ПРОЗА», 2022)

В литературной традиции есть очень скверная привычка: каждые
лет пять-десять говорить, как что-то умерло. То киберпанк умирает, то
глубокий психологический роман, то стихотворения, то эпос... Сказкам
уже много раз пророчили смерть: мол, кто в здравом уме будет это читать
и, главное, писать? Эти люди просто не сталнивались с Людмилой Петру-
шевской. Теперь-то — самое время столкнуться. В «Альпине.Прозе» вышел
сборник сказок, притч и рассказов «Норолева Лир», где все главные
герои — девочки, девушки, женщины и бабушки.

У Людмилы Петрушевской под рукой целый набор прозаических ниток
разного калибра: сказочных и современных. А потому дома в глухом
лесу здесь обзаводятся неоновыми табличками, королевства — автобус-
ными останками, принцев показывают по телевизору, колдуны сосед-
ствуют с PR-кампаниями, а банновские карточки оказываются волшеб-
ными. Сборник действительно похож на лоскутное одеяло, связанное



из смыслов, контекстов и эпох. При этом Людмила Петрушевская ловко нанизывает свои сюжеты на уже знакомые читателю истории: «Новое платье короля», «Нарлина Носа», «Златовласку» и, естественно, шекспировского «Короля Лира». Да что там, автор делает реверансы даже в сторону библейских сюжетов — например, в истории о том, как мать увозит чудесного младенца за тридевять земель (более того, туда еще и кусочек мифа об Икаре поместился).

Н слово, о центральной сказке сборника: у читателя почти наверняка возникает вопрос: при чем тут Шекспир? Конечно, не ради красного словца — Людмила Петрушевская тоже пишет о старческом маразме, только у ее героини — свои прибабахи. Если король Лир уходит гулять в степи, то Королева бреется налысо, оставляя нопну зеленых волос, спасается от полиции на мотоцикле и строит домик из мусора. Само собой, каждый даст собственную трактовку этой истории. Вполне вероятно, что рассказ «Королева Лир» — сюжет о том, как пожилые родственники внезапно становятся бездомными, а там уж живут, как могут. Еще этот текст — абсолютно безумное приключение, где Монти Пайтон наслаивается на Хармса. Прямо готовая, очень модная, в современном прочтении сценическая постановка трагедии Шекспира.

Принято говорить, что от любви до ненависти — один шаг. В случае Людмилы Петрушевской один шаг — от иронии до бытовой мудрости, причем ходит писательница по очень тонкому льду, но тем интереснее. Чего стоят только сытые (а значит, довольные) журналисты или предположение, что все толстые люди на самом деле заколдованы: худеют, а потом чудесным образом снова полнеют. Совсем не детские здесь шуточки про генетику, семейные измены и королей, относящихся к потомству, как к породистым собакам, — зато взрослые снимут еще один слой с петрушевской напуста, для простоты названной обычной сказкой.

Уолы в сторону повседневности так плотно переплетаются с феями-крестными и другим сказочным людом, что читать «Норолеву Лир» просто невозможно без улыбки на лице. Истории между собой, нстати, сюжетно никак не связаны. Написаны, в лучших традициях, легко, просто и динамично. Людмила Петрушевская — вообще из тех, для кого сварить нашу из топора — не проблема. А сделать сказку из одной лишь детали — тем более.

Мир в пакетике супа

АЛЕНСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ, «ТОЧНА РОСЫ»
(«АЛЬПИНА.ПРОЗА», 2022)

Говорить о текстах Александра Иличевского всегда немного неловко, ведь в любом случае будет сказано нуда меньше, чем есть на самом деле. И не потому, что слов не хватит — их всегда можно найти, — а потому, что каждый рассказ и каждая повесть — концентрированное повествование. В некотором роде это как сублимированный суп для варки — слишком насыщенный для кастрюльки-текста такого малого объема. Вот и получается, что вкусовые ощущения читатель получает сполна, но не все из них успеваеа уловить и отличить друг от друга: тут одновременно и сладко, и горько, и кисло. Суп в пакетике оказываеа слишком насыщенным, а текст — слишком многослойным, чтобы прожевать все разом.

Каждая история из сборника «Точна росы» — это уже автоматическн вещь в себе. Нарративы Александра Иличевского работают по нарастающей, можно сказать, в геометрической прогрессии: от бытового и вечному и непостижимому. И все это — в рамках одного текста, никакой сюжетной связи между ними нет: истории просто поделены на четыре блока. Здесь американские одесситы, «блевоаа» пина-колада, совы (с легким налетом Линча) и большие астмой перетекают в ностальгию о детстве и в самые настоящие чудеса: например, в искусство, излечившее практически полного слепца. У героев автора нет ни национальности, ни расы. Точнее, есть-то они есть, только совершенно не важны. Каждый персонаж — это читатель, которого Александр Иличевский отправляет в вояж по пучинам сознания. «Точна росы» в некотором, очень условном роде — игра с полным VR-погружением, но не стрелялка, а бродилка: ведь жизнь, по сути, и есть одно вечное брожение. Так лесные походы перетекают в размышление о сотворении мира и о вечности, о той ледяной, сновывающей пустоте, что была до всякого начала. А ночь, проведенная с незнакомкой, вдруг потерявшей золотой браслет, оказываеа такой же светлой и недосыгаемой, как молитва в храме. Каждая история разрастается корнями старого, вековечного дуба — на много километров за рамки текста.

Ничего бы из этого не работало без авторского слога: протяжного, живописного и манящего за собой. Можно бесконечно сопоставлять тексты Александра Иличевского с картинами импрессионистов: широкие мазки, игра света, ощущений. Желтые шашечки танси в ночи здесь становятся хребтами игуан, а жернова «мелют вечность». И даже сцены нурения — мимолетные — завораживают так, будто для них подобрали особую, авторскую, несуществующую палитру. Слог Иличевского хочется сравнить с пастельными тонами Грина или убаюкивающими предложе-

ниями Манса Фрая, хотя никакие сравнения тут неуместны. Александр Иличевский — исключительно Александр Иличевский. Точна. Ни убавить, ни прибавить.

«Точна росы» — чуть ли не стихотворения в прозе, которые намного лучше раскрываются в малой форме. Ведь ходить босым по лезвию ножа — и водить за собой читателя — куда проще на малые дистанции. Чтобы можно было остановиться, оглядеться назад и подумать, что же ждет впереди.

Волчи утехи

ЭЛОДИ ХАРПЕР, «ДОМ ВОЛЧИЦ» («МИФ», ПЕРЕВОД ЛЮБОВИ КАРЦИВАДЗЕ, 2022)

Древние Помпеи ничем не уступают современному мегаполису: яркие праздники с танцорами в масках сатиров, пиры с музыкантами, дешевые забегаловки, дорогие рестораны, термы и магазины ламп. Впрочем, пороков здесь тоже предостаточно — пьянство, драки и, конечно, проституция. Знаменитые помпейские лупанарии (публичные дома) сыскали чуть ли не мировую славу. Элоди Харпер решает выяснить, многое ли изменилось в сфере «жриц любви» за несколько тысяч лет. Спойлер: почти ничего.

«Дом волчиц» — история гречанки Амары, в детстве проданной собственной матерью в рабство, а после перекупленной для работы в лупанарии Помпеев. Весь сюжет и эмоциональный заряд книги закручен вокруг этой героини, хотя и другим «волчицам» находится место — у каждой своя судьба. Извлени хотя бы одну из повествования — роман рассыплется, как неудачная мозаика: как раз из тех, что любили римляне, с рыбами или мифологическими сюжетами. Второстепенные герои — лишь ниточки, за которые автор дергает, чтобы шевелилась Амара. Но ниточки эти повязаны крепко, чуть ли не на морские узлы. Персонажи второго плана объемные, не похожие на универсальные функции «злого зла», «доброты добра», «героя ради слез читателя»: начиная пожилой «волчицей» и «динаркой» с берегов Британии, заканчивая сутенером и мужчиной-проститутком. Даже богатые римляне тут — не ходячий набор стереотипов.

Амара забыла, что такое настоящие, неподкупные чувства. Теперь ей знакомо лишь отвращение к мужскому телу, даже когда дело не доходит до постели. Но жизнь, традиционно, вносит свои коррективы: девушке предстоит осознать, действительно ли она полюбила раба из Греции, правильно ли испытывать жалость и легкое влечение к своему сутенеру и стоит ли вольная жизнь надуманной, пластиковой любви богача?

Книга Элоди Харпер — достаточно неторопливый роман о тысяче и одном моральном выборе. Да, он не лишен драк и пьяных клиентов, все в лучших римских традициях: *panem et circenses*, хлеба и зрелищ! Амара попробует себя в роли секретаря сутенера, предлагая сосуды достойным матронам, несколько раз окажется на волосок от смерти и даже будет читать вслух Плинию Старшему, автору «Естественной истории». В остальном же «Дом волчиц» — история сугубо психологическая, написанная в очень умеренном темпе. Слегка затянутая, но тянущая за собой: интересно, чем завершатся мучения героини. По мере чтения в голове начинают вырисовываться два вероятных финала: слишком жестокий

и слишком сладострастный. Автору удается удивить — получается нечто посередине, практически идеальная точка для истории такого рода. Дает ответы, оставляя вопросы.

Роман, как кошелек богатого помпейца, увесист историческими деталями: от масла для волос, излюбленного рыбного соуса и рациона проституток до описания праздников. Элоди Харпер умело торгуется с читателем — вот вам немного деталей, а остальное соберите сами. Так что исторический фон не перебивает героев, а Помпеи, город разврата и роскоши, ощущаются сполна. Иногда текст кажется слегка водянистым — то ли из-за достаточного простого (что, кстати, идет на пользу истории) авторского слога, то ли от мимолетности событий... Впрочем, возможно, дело в другом: от романа на такую тему ждешь серьезного сопротивления. Через него хочется продираться, он представляется большим противотанковым ежом, колющим и доводящим до тошноты. Элоди Харпер словами, конечно, избивает, но легонько, чтобы не задеть читателя. Хотя книга — совершенно точно не чтение для воскресной прогулки в благотворительном парке.

Роман очень удачно переложен: как в свое время «Пигмалион» Бернарда Шоу осовременили, получив «Красотку», так и здесь: с одной стороны, все связанное с современной проституцией онунули в прошлое, с другой — слегка актуализировали жизнь древних Помпеев и происходящие события. Читатель видит перед собой современных ему людей, но с радостью принимает предложенную автором игру. «Дом волчиц» — именно что очень грамотная ролевая игра на фоне исторической реконструкции, а потому роман давит именно на те нервы аудитории, на какие планировалось. Можно поменять костюмы героев и фон — суть сохранится. И если некоторые книги такой прием ломает, то здесь — наоборот, делает авторский посыл яснее. Декорации древнего города не ощущаются картонными, сделанными наспех, со слишком большим количеством блесток — они лишь позволяют взглянуть на все те же проблемы проституции под иным углом. Обзор получается лучше — можно не церемониться. Все равно, что смотреть на город не с улицы, а со смотровой площадки — полноценно, во всех проявлениях.



podpiska.pochta.ru

БЫЛОЕ И ДУМЫ

podpiska.pochta.ru

«ВМЕСТО ПЕЧКИ...»

КОММЕНТАРИЙ К АВТОГРАФУ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО



ЕЛЕНА ЛЕВИНА

Родилась и живет в Москве. Мать — художница, отец — литератор. По профессии геолог. Работала в основном в пустынях Средней Азии

и на севере Русской равнины. Автор воспоминаний о военном детстве, о художниках и литераторах, опубликованных в разных сборниках и журналах.

В книжном шкафу я нашла скромную книжку с названием «Кеминэ». Это оказались стихи и маленькие рассказы знаменитого туркменского классика в переводах Арсения Тарковского. Особенно меня обрадовало, что она подписана моей маме:

*Еве Павловне –
немого Туркмении,
где жарко,
вместо печки –
20.X 1940
в Москве, где холодно –
Переводчик*

Кеминэ – легендарный народный любимец, поэт-лирик, поэт-сатирик, насмешник, живший в начале XIX века. Его стихи и рассказы передавались из уст в уста, от поколения к поколению. Это фольклор. Его впервые записали в тридцатые годы XX века. Благодаря Арсению Тарковскому все, что известно из его творчества, переведено на русский язык и вошло в эту книжку. Кеминэ – как узбекский Ходжа Насреддин. Из лирики Кеминэ:

Из-за тебя
Я влюблен, сдержать не могу
Этой песни моей –
В тоске.
Я заснуть опять
Не могу.
Роза! Твой соловей –
В тоске.

Живописцы нашей земли
Дорогой кармин извели –
Воссоздать тебя не могли.
Ты мне солнца светлей –
В тоске.

...

Вспомнилось довоенное детство: летние каникулы, пионерлагерь «Литфонда» во Внуково (1939–1941). Там я подружилась с Лялей Трениной. В родительский день ко мне приехала мама, а к Ляле ее мама – Антонина Александровна Бохонова и отчим Арсений Тарковский. Они познакомились и после лета приходили к нам в гости, смотрели мамину живопись. Как-то мы поехали к ним в гости. Они жили то ли на Павелецкой, то ли на Серпуховской в старом доме на первом этаже. В комнате со светлыми стенами висели картины. Над тахтой рисунки А. Бенуа.

Эти годы для мамы были трудные. Дело в том, что в 1938 году после громкого процесса расстреляли ее старшего брата – Аркадия Павловича Розенгольца, другой брат-микробиолог находился в лагере. Трудящиеся заводов и фабрик требовали: «Врагов народа расстрелять, как бешеных собак». Писатели подписывали коллективные письма и сочиняли разоблачительные статьи. Мама осталась без работы, и некоторые люди отвернулись. Словом, пустота. Поэтому дружба с Тарковскими ею тогда была воспринята как проявление высокой порядочности. Я помню, как мама спросила у папы, наверное, это был 1939 год, знает ли он Тарковского. Сказала: «Он очень талантливый поэт и переводчик, любит живопись и даже не боится моей фамилии...»

Я запомнила внешность Арсения Тарковского с детства, так как он был особенный, ни на кого не похожий: худощавый, высокий, с широким разворотом плеч, темно-русый, лицо с угловатыми скулами. И весь он был какой-то геометрический, как с картин кубистов, в то же время пластичный. В облике ощущалась выдержанность, аристократичность, одухотворенность и современность. Взгляд вдумчивый. Глаза темные, под округлыми широкими бровями. В нем немного сквозило что-то азиатское. Всегда элегантный. Подходил под образ поэта, как никто. Я его всегда видела рядом с женой Тоней. Она была хрупкая шатенка, с немного уставшим миловидным лицом, со вкусом, изящно и модно одетая, без косметики, а еще добрая. По профессии фотохудожник.

Позднее Тарковский познакомил маму с поэтом-переводчиком Владимиром Бугаевским и его женой Лидой, которые жили поблизости. Эти дружеские отношения продолжились в Чистополе и после войны.

В конце 1941 года Арсений Александрович ушел на фронт в качестве военного корреспондента, а в начале 1944 года был тяжело ранен в ногу. Из прифронтового госпиталя в Москву его сумела вывезти Тоня, так как ему грозила гангрена. Она его положила в институт хирургии. Операцию сделал сам профессор А.В. Вишневский и спас его. Но, к общему сожалению, Арсений Александрович в 1947 году расстался с женой. Вскоре Антонина Александровна тяжело заболела, и в 1951 году ее не стало. В это время мамы уже не было в Москве – она находилась в ссылке в Красноярском крае...

Позднее я встретила Тарковского всего два раза.

Война. Осень 1941 года, Чистополь. Сюда эвакуированы писатели, их семьи и дети без родителей. Я живу в интернате. Гуляем по улице с подружкой и встречаем Антонину Александровну, которая нам очень обрадовалась и стала приглашать в гости. Я тогда была в ссоре с ее дочкой Лялей, поэтому упорно отказывалась. И она буквально затащила нас. Конечно, ей было известно, что в интернате голодно. Оказалось, что их дом находился как раз рядом за низким забором... Помнится: несколько ступенек крыльца, порог и большая светлая комната, слева с окнами. Около них на длинной скамейке сидела Лялька, даже не удивившаяся, что мы пришли. Нас посадили за стол, который стоял у стены против входа, а рядом с ним была дверь в другую комнату, из которой вышел в белой рубашке Тарковский и радушно нас приветствовал. Оказалось, что он только приехал из Москвы и привез продукты, поэтому Тоня нас так звала, что-



бы угостить. Нас покормили, и на столе в вазочке к чаю появились московские конфеты. Это было чудо! Мы сначала застеснялись, но нас уговаривали брать сколько хочешь. И вот тут мы после первой конфеты стали нагло прятать следующие. Словом, несколько конфет унесли с собой. А Тарковские как будто ничего не замечали, о чем-то нас расспрашивали и предлагали еще конфет. А нам действительно было и неловко, и смешно, и как-то лихо. Вернувшись довольными в интернат еще с чувством героизма, раздали эти конфеты всем девочкам из нашей палаты. Только после стало стыдно. Ляля все это видела и молчала. Ее не удивило наше поведение. Она раньше тоже жила в интернате и знала, что мы привыкли друг с другом делиться. Потом вспомнила, что недоумевала, как нас щедро угощают, а ей выдают по одной, чтобы их хватило надолго.

Самый конец 1950-х годов. Я работаю в геологической экспедиции в Туркмении и приехала по рабочим делам в Ашхабад. Воскресенье. Иду на базар. Восточная пестрота, прилавки окружают небольшую площадь, где в пыли лежит крупнейший темно-вишневый ковер с черным орнаментом. Рядом с ним гора арбузов. Иду вдоль прилавков с овечьими сырами в поисках вязаных носков. Наконец они появляются, затем пошли разные женские украшения: браслеты, кольца, огромные брошки, обереги, тубетейки. Глаз не оторвешь, и вдруг впереди почти рядом – Тарковский в темном плаще с какой-то дамой, и с таким вниманием рассматривает эту утварь, как произведения искусства, и рассказывает о них что-то интересное. Но я не подошла от смущения... Сейчас сожалею.

Я хочу напомнить стихотворение Тарковского «Портной из Львова». Поэт его написал в 1947 году. В то время началась антисемитская кампания «борьбы против космополитов». Это был настоящий поступок, который говорит о том, с какой болью и сочувствием к человеческой беде относится автор. С небольшой правкой оно было опубликовано. Роберта Фалька это стихотворение так тронуло, что он подарил Тарковскому свою работу.

С чемоданчиком картонным,
Ластоногий, в котелке,
По каким-то там перронам,
С гнутой тросточкой в руке.

Сумасшедший, безответный,
Бедный житель городской,
Одержимый безбилетной
Иудейскою тоской.

Не из Лодзи, так из Львова,
Не в Казань, так на Уфу.
– Это ж казнь, даю вам слово,
Без фуфайки, на фуфу!

Колос недожатой нивы
Под сверкающим серпом.
Третьи сутки жгут архивы
В этом городе чужом.

А в вагонах – наркоматы,
Места нет живой душе,
Госпитальные халаты
И японский атташе.

Часовой стоит на страже,
Начинается пальба,
И на город черной пряжей
Опускается судьба.

Чудом сузилась жилетка,
Пахнет снегом и огнем,
И полна грудная клетка
Царским траурным вином.

Привкус меди, смерти, тлена
У него на языке,
Будто сам Давид из плена
К небесам воззвал в тоске.

На полу лежит в теплушке
Без подушки, без пальто,
Побирушка без полушки,
Странник, беженец, никто.

Он стоит над стылой Камой,
Спит во гробе город Львов,
Страждет сын Давида, самый
Нищий из его сынов.

Ел бы хлеб, да нету соли,
Ел бы соль, да хлеба нет.
Снег растает в чистом поле,
Порастет польнью след.

podpiska.pochta.ru

«ФИЛАТОВ ФЕСТ»

podpiska.pochta.ru

«ФИЛАТОВ ФЕСТ» КАК ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

—
ВЛАД МАЛЕННО

Девять лет назад я шел в Москве по Ильинке и придумал «Филатов Фест». Хотелось свободно зарубиться с надменными толстожурналистами, которые убеждены, что если поэт умеет со сцены кидать в зал свои слова, то это эстрада и попса.

А если у него во рту каша, он не выходит из комнаты, то это литература...

Гомер выпрашивал у моря гениальные смыслы, выпевал их, играл на себе, как на походной гитаре, Аристофан был отменным поэтом, он кричал и смешил и, кстати, придумал слово из 171 буквы!

Шекспир лицедействовал, Пушкин читал блестяще, Есенин был ходячим театром, являлся сам наним-то загадочным музыкальным инструментом для поэзии, Маяковский великолепно распевал свои гениальные стихи... Что уж там говорить о Владимире Высоцком?

Его друзья-шестидесятники за поэта не считали. Ну, поэт парень, ну, страшно талантливый. Двадцать лет я в Театре на Таганке не груши околачивал! Любимов обожал мои ежедневные выдумки. У меня где-то даже есть его росчерк: «Влад! Придумывай дальше! Не останавливайся! Не обращай внимания на скептиков и лентяев!» Андрей Вознесенский очень любил, когда я ему его же пародировал... Короче говоря, я все это вспоминал во время нашего главного праздника, Большого финала Восьмого открытого всероссийского фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест» 30 мая, когда на улице осталось человек двести, которые в зал просто не поместились! И это на поэзию! Господи, думаю, вот где продолжает жить настоящая Таганка! Начаются на люстрах люди, сидят на головах друг у друга, только чтобы услышать новые стихи новых гениальных ребят, которые явили себя с помощью «Филатов Феста»!

Работа была жаркой. Из двух с половиной тысяч заявок члены жюри (а это суперпрофессионалы — критики, литературоведы, писатели, зрелые

прекрасные поэты, такие как Игорь Волгин, Мансим Замшев, Лена Исаева, Александр Вулых, Саша Антипов, Роман Соронин) выбрали 102 счастливых для длинного списка. И вот уже они сражались в очных турах за выход в полуфиналы, приезжая со всей страны. Кстати, заявки пришли со всего мира, даже одна из Индии! Этим людям, которые стучались в нашу дверь, в пору вручать медаль «За оборону русского языка»!

В финал пробилась пятнадцать сильнейших волшебников-зверей!

Я намеренно не был членом жюри, чтобы эмоциональный фон не влиял на принятие решения. Мое дело было выстроить церемонию так, чтобы это был спектакль, поэтическое действие, продолжение той Таганки, которую никто кроме меня-то и делать больше не умеет. Это не нескромность. Это факт.

И в этот яркий спектакль классно вписались мэтры наши — Дмитрий Воденников, Никита Высоцкий, Ольга Нормухина, Дмитрий Певцов, гениальный пианист Борис Березовский, Константин Недров, Игорь Волгин. А как мне жаль тех, кто не смог в этот вечер пробраться в Дом актера! Передавать атмосферу бесполезно.

Там был ток, реальный электрический. Можно было пол-Москвы питать энергией!

Победа Анны Долгаревой — заслуженная по всем статьям, Аня, на мой взгляд, — это герой нашего времени. Приз зрительских симпатий у Алексея Шмелева. Про него я отдельно хочу сказать. Этот прекрасный поэт стоял у истоков нашего фестиваля, очень много сделал для первого и второго «Филатов Фестов». Потом судьба нас развела по разным углам. И вот он перестал обижаться, говорить ерунду по углам, скромно вернулся, подав заявку, и победил. Молодец Шмелев! И стихи у него великолепные, зрелые. А еще очень важной стала для нас новая номинация «Поющему поэту» — приз имени Владимира Качана, нашего ушедшего товарища, близкого друга Леонида Филатова. Этот приз получил Алексей Вдовин. Один из лучших людей, которые ходят по свету с гитарой.

Финал и стал спектаклем. Здесь главными героями были пятнадцать свободных, красивых молодых волхвов. А Леонид Филатов с экрана улыбался им как-то по-особому в этом году!

Могу еще рассказывать и рассказывать, но лучше посмотреть трансляцию на нашем паблике в «ВКонтакте», это всего не передаст, зато вы точно что-то важное узнаете про наше время, библейское время в полном смысле этих слов. А кому, как не поэтам, о нем рассказывать?

ВЛАД МАЛЕННО

* * *

Все книги превратились в оригами,
Их пальцами разрезал брадобрей.
Мы вынесли стихи вперед слогами,
Как маленьких серебряных зверей.

Мы не в своей тарелке и постели...
Окаменела времени халва.
Поэты, как семь пьяниц на неделе, –
Все разошлись, кто в лес,
кто по слова...

Искали свет с фонариком зажженным,
Похмелье перепутав с ОРВИ,
Но все ни с чем вернулись к спящим женам,
Скурив стихи от фильтра до крови.

Мы смелыми заснув, проснувшись в страхе,
Висел топор над дымом сигарет.
Век двадцать первый, будто парикмахер
Над нами лязгал ножницами лет.

Слова пожухли, как цветов охапки,
И при свободе разлетелись в прах,
А на поэтах загорались шапки
От помыслов в горячих головах.

Давно в сети послушные отары.
Борцы за правду умножают ложь.
Кто знает много, быстро станет старым,
Кто мало, молодым пойдет под нож.

Растет для кольев будущих осина,
В аду живущим обещают рай.
На небе Бог, а на Земле Россия,
Жаль, лестницу мы продали в Китай.

Как говорил мне, улыбаясь, Коля,
Когда с войны поехали назад:
«Мы с одного, брат, ягодного поля,
Но поле заминировано, брат».

Ты всю жизнь говорил о любви,
я не слышал тебя.
Ты с любовью касался меня –
я отдергивал руку.
Не порежся, сынок, о небес цифровые края,
когда будешь ползти по воде к изначальному звуку.

* * *

Зацвела алыча
в небо Крыма – под ним
я несу на плечах
непроявленный нимб.
Не руби сгоряча
мою голову с плеч –
я несу на плечах
своих – млечную речь.
Я тебе не смогу
рассказать на лету
про Венеру в снегу
и Юпитер в цвету.
Я забыл свою суть –
потому и молчу.
Скоро суд. Мне на суд
принесут алычу.

* * *

В апельсиновых рощах холодный туман,
сквозь который к тебе пробираюсь на ощупь...
Что, казалось бы, проще,
когда ты шаман –
пить глазами туман в апельсиновой роще.
Разбуди меня завтра,
создатель игры.
В доме с окнами в сад, переполненный светом,
и верандой – на самой вершине горы,
любоваться на небе вчерашней планетой.
Посмотри, как прекрасен и крепок мой сон –
в нем любимая женщина дарит мне сына.
И глаза у него ярче тысячи солнц,
и какие на ветках висят апельсины.
Я всю жизнь сюда шел – от зари до зари.
Столько раз я себе представлял эту рощу – где-то там...
А она оказалась внутри – прямо в сердце моем.
Что, казалось бы, проще...

* * *

Когда последним снегопадом
укроет Бог страну мою –
погаснет солнце, как лампада,
и станет холодно в раю.
Необъяснимый и нелепый
приобретут в ту пору вид
высоток подмосковных склепы
и частокол надгробных плит,
когда на улицы пустые –
что мы из кухни на балкон,
полупрозрачные святые
сойдут с просоленных икон.
Воздастся каждому по вере,
золою станут города.
И спящий мальчик на Венере
не вспомнит Страшного суда.

* * *

Столько света вокруг –
с непривычки смотри не ослепни.
Пыль прекрасной звезды оседает на теле твоём.
И от этой пыли умирают все мухи и слепни.
Все, кто пил твою кровь и, напившись, кружил над гнильем.
Как красив этот свет.
Ты бы тоже мог стать этим светом.
Но ты слишком тяжёл.
Но грехи тебя тянут к земле.
Ты откроешь глаза и наутро не вспомнишь об этом.
Только пение птиц. Только солнечный луч на столе.

* * *

От горних вершин до земных низин:
повсюду следы наших лап.
Господи, я никудашный сын
и никудашный раб.
Я не умею, как царь Давид,
петь для Тебя псалмы.
Господи, мой непотребен вид,
мысли мои хромы.
Знаю: Твой мир справедлив и прост,
не мыслю о мире ином,

вот только, когда начинается пост,
приходят друзья с вином.
Так и припрямся оравой всей
мы на небесный трап.
Папа, я в гости позвал друзей...
Мы правда тихонько, пап.

АННА ДОЛГАРЕВА

КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРЖСКАЯ

я Ксения, а значит, я Андрей.
могилы нет, и нет тебя в могиле.
живи, ходи под солнцем и старей –
нет смерти, нет червей ее и гнили.

я буду ты, я буду человек,
дитя Господне, розовые щеки,
и этот грязный петербургский снег,
и свет вечерний от небес высоких.

я Ксения, Андрей, ворон сумбур,
и смерти нет, и не было могилы,
и я иду, иду сквозь Петербург
по Ленинграду, Господи помилуй.

* * *

На праздники – пустующий роддом,
охранник кашляет вчерашним перегаром.
Идут волхвы, Азиз и Наримон –
уборщик с санитаром,

к девчонке, у которой только сын,
она одна, и он совсем один,
и больше никого. Азиз смеется:
«Нэ плач. Бери тихонько мандарин».
И он как солнце.

Господь рождается, и славимо Его,
не будет смерти ныне.
и в каждом проявленье – Рождество,
да вот хоть в мандарине.

ДМИТРИЙ ПОПАЗОВ

* * *

Раскроешь рот, позволив облакам
Клевать себя, как птицам из кормушки.
Убийца не стреляет по ногам
Хоть жизнь – игра,
Но, все же, не игрушка.
Я уходил от драк и от погонь,
Бросал людей, кривил душой, в надежде,
Что если вбить молчание в ладонь,
То речь не будет той же, что и прежде.
Раздень меня, раздень и отвлеки:
Что видишь, Боже, в ночь перед побегом?
Ты собственному слову вопреки
Сравнил себя с обычным человеком,
А я, как раз, такой же. Посмотри,
Сошурив глаз, лишенный сна и власти,
Как рвет себя на части изнутри
Твое непреднамеренное счастье.

ЕВГЕНИЙ ДЬЯНОВ

* * *

Я встретил постаревшую весну,
За ниточки дождей ее ко сну
Все клонит, клонит...
Где ты, ловкость рук?
Неужто заболела Паркинсоном?
Бесцеремонно ходят по газонам
пигментных пятен стаи и стада,
мутнеет разноцветная слюда
в зеркальных рамах,
и вода повсюду.

Скелеты, зомби или куклы вуду –
печальные ее однополчане,
уже по горло в собственном молчанье,
первостепенный видя в том резон –
планируют свой бархатный сезон.
Шашлык-машлык, диета – не диета,
купальник этот, тот гамак возьми!
И это все в преддверии зимы,
а может, лета.

* * *

Выходишь из кинотеатра,
а жизнь воняет тошнотой,
не важно – Сартра ли, не Сартра,
не важно – с этой или с той

стоишь у входа в синемá,
летят снежинки обреченно,
и черно-белая зима
коварная молчит о чем-то.

Посмотришь в падающий снег
и, словно жертва зимней секты,
вдруг выучишь небесный сленг,
забыв земные спецэффекты,

но одиночества хандра
и однодневности тревога
к тебе опять придут с утра,
а это, если честно, много

для человека... Все, что тут,
и все, что там, прими за данность
и проложи себе маршрут
из снегопада в благодарность.

КОНСТАНТИН КОМАРОВ

* * *

Сквозь мозг, заплывший салом,
проходит напролом
извилистый, как слалом,
озвученный псалом.

Да будет звук тот лаком
душе и ей влеком,
покрытый, словно лаком,
небесным молоком.

И выдохнут гробницы
многоголосый хор,
похожий на грибницы
простроенный простор.

Сольются воедино,
как в единице два,
катрены и картины,
реальность и слова.

И снова монолитной
пропизана тоской
высокая молитва
о низости людской.

podpiska.pochta.ru

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

podpiska.pochta.ru

СЕРГЕЙ КУБРИН: «МЫ ПИШЕМ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАБЫТЬ»



ЕГОР АППОЛОНОВ
Журналист, автор книги
«Пиши рьяно, редактируй
резво» («Альпина Паблишер»,
2019), главный редактор
журнала «Аэроэкспресс».

Сергей Кубрин — явление в современной русской литературе. Сам он этого пока еще не понял, но со временем, надеемся, поймет. Кубрин пишет «настоящую прозу», где «настоящая» — следствие пережитого опыта, а не внутренних рефлексий. Кубрин пишет долго. С надрывом. Не заигрывает с читателем. А просто говорит: «Я простой парень, который живет обычной жизнью». Но в этой обманчивой простоте и таится очарование пензенского автора, чья дебютная книга «Виноватых быют», вне всякий сомнений, найдет отклик в читательских сердцах.

- *Давай начнем с вопроса, кто ты: писатель, полицейский, следователь, а может, кто-то еще?*
- Я не знаю. Представления меняются чуть ли не ежедневно. Пожалуй, проще вообще не задумываться, кто я. Просто делать пусть и рутинную, но каждодневную работу. Относиться к жизни как к бесконечной цепочке трудовых обязанностей и правил. Я не знаю, кто я — писатель-полицейский или полицейский-писатель. Возможно, одно слово в этой связке вообще лишнее. Сегодня я полицейский, завтра не полицейский. С писательством такое не пройдет: сегодня я что-то пишу, и, скорее всего, буду писать и завтра. Даже если перестану служить в системе правоохранительных органов.
- *Когда ты понял, что ты хочешь помочь свершиться правосудию? Что вообще заставило тебя выбрать эту работу?*
- Я никогда не хотел служить в правоохранительных органах. Мечтал заниматься корпоративным правом, правовым консалтингом для крупных компаний. Но после армии не смог оперативно перестроиться на гражданские рельсы. Нужно было устраиваться на работу. Мне тогда казалось, что время уходит. В студенческие годы время тянулось медленно, а потом вдруг резко ускорило. Я испугался, что не успею

- реализоваться как человек, получивший юридическое образование. Впитав в себя особенности системы власти и подчинения (я говорю об армии), я понял, что этот формат мне понятен. Пошел в следственное управление по Пензенской области и спросил, есть ли там вакансии следователей, потому что следователь — это реализация юридической профессии в уголовном пространстве. Меня взяли. И вот я уже почти 8 лет не могу сойти с этих рельсов и каждый день выполняю эту работу.
- *Не жалеешь о сделанном выборе? Возникают ситуации, когда ты понимаешь, что все могло бы сложиться иначе?*
 - Да, я жалею, не буду лукавить. Все пошло не так, как я себе представлял. Но загадка в том, что «мы всегда становимся не теми, кем хотели стать». Это слова Харуки Мураками. Я согласен с ним. Почему так происходит — непонятно. Возможно, за нас решает мироздание. Возможно, не я выбрал профессию, а профессия выбрала меня. И вообще — не стоит мыслить категориями «жалею» и «не жалею», «нравится мне эта работа» или «не нравится». Я просто ее выполняю. И работаю я не на руководителей, следственное управление или управление Министерства внутренних дел. Я работаю на государство и на отдельно взятого гражданина.
 - *Что важнее в этой связке для тебя – государство или гражданин?*
 - Сложный вопрос. Если государство — это для всех нас, всех граждан, то, наверное, и на тех и на других. Но интересы отдельно взятой личности для меня более существенны, чем интересы государства. Ведь государство может выстоять перед различными ударами и противоречиями. А человек, несмотря на силу, полученную в результате божественного промысла, все равно остается очень слабым. Нкие-то удары судьбы в одиночку он пережить просто не способен. Поэтому я всегда за человека, а не за государство.
 - *Это чувство, что ты можешь помочь человеку добиться справедливости, оно было в тебе всегда?*
 - Я не уверен, что у меня есть какое-то чувство справедливости. Просто я очень переживаю за последствия, которые могут настичь человека, если он не получит помощи. Когда я вижу кого-то нуждающегося в помощи, я думаю, что, если я не предприму попыток, чтобы ему помочь, страдать буду я, а не человек, попавший в сложную ситуацию. Может быть, это и есть чувство справедливости, не знаю. По большому счету мне все равно, получит человек наказание или нет, освободят его от ответственности в суде или отправят в исправительное учреждение. Важна ведь не строгость наказания, а его неизбежность. С другой стороны, я не испытаю и разочарования, если человека не накажут. Это очень сложная система. Главное, по-моему, чтобы был некий паритет, консенсус.
 - *Ты только что сказал, что ничего не выбираешь и есть некая предопределенность. То есть ты считаешь, что есть некий фатум, что мы движемся по рельсам, с которых не свернуть, ничего не выбираем? Или все-таки есть поле для маневра, чтобы мы пришли к мечте?*
 - Мне хочется верить, что есть судьба и фатум. Но, по-моему, человек все-таки ответственен за каждый свой шаг. Говоря, что судьба и профессия выбрали меня, возможно, я сам себе противоречу. Ведь в моих силах все изменить. И добавлю: у меня никогда не было мечты стать следователем — ни старшим, ни младшим.
 - *А какая у тебя была мечта?*

- Я хотел стать учителем русского языка и литературы. Или переводчиком. Или журналистом. А поиски преступников и доназывание вины оставались территорией сериала «Улицы разбитых фонарей», который мы все смотрели в 90-е годы. Никогда не мог подумать, что я надену форму. Мне это очень претило и не нравилось. Но в итоге я в форме. И учителем русского языка мне уже не стать.
- *А что мешает?*
- Мешает чувство самозванца. Я считаю, что каждый человек должен заниматься профессией, по которой получил образование. Если я что-то там пишу, это совсем не говорит, что я могу учить детей литературе или русскому языку. Ведь пишу я интуитивно, а когда работаешь учителем, нужна система образовательного подхода.
- *Как обстоят дела с чувством самозванца в литературе?*
- Оно всегда со мной. Я не очень понимаю, как так получилась, что мои тексты изданы и стали книгой. Мне кажется, меня вот-вот разоблачат.
- *Когда именно ты понял, что ты хочешь писать? Был тот день, когда ты сказал себе: «Я хочу быть писателем»?*
- Это было классе в десятом. Я ничего такого не говорил. Просто сел и начал писать текст. Я был в школе, а потом вернулся домой, взял какую-то книгу (названия не помню, помню только, что это была книга в зеленой обложке) и, прочтя ее, понял, что тоже хочу писать. Ну и начал.
- *Как складывался этот путь? У тебя сразу стало получаться?*
- У меня сразу стало не получаться, и меня это очень раздражало. Я не понимал, как создаются тексты и как те, у кого получилось, добиваются успеха. Тогда я ориентировался на премию «Дебют». Прочел повесть «Бесконечность» Ульяны Гамаюн и очень вдохновился. Я подумал: «Вот как нужно писать». Потом прочел что-то другое и понял, что можно писать иначе. В итоге начал искать какие-то свои внутренние механизмы и очень долго не мог их найти. Все написанное казалось вторичным и ненужным. При этом меня рано начали публиковать, и я не понимал почему. Я думал, что это случайность. Я и сейчас думаю, что происходящее со мной в литературе — это череда случайностей. Я еще никому ничего не доказал. Как следователь я обязан доказать вину преступника. Как человек, работающий с текстами, — что я не самозванец. И что книга, изданная в «Редакции Елены Шубиной», — это подтверждение того, что я умею, а не выданный мирозданием аванс.
- *Я вижу противоречие. Ты несколько раз был финалистом и один раз лауреатом «Лицея». Разве это не доказательство, что ты пишешь хорошо? Шамиль Идиатуллин говорил: «Берите пример с Кубрина. Он пишет и побеждает».*
- Свой опыт я воспринимаю скорее как пример для тех, кто не попадает в финалы премий. Пишите много, пробуйте, пишите снова, повторяйте опыт — и тогда вы однажды добьетесь успеха. Но при этом меня лично выходы в финалы не избавили от чувства самозванца. И даже победа в «Лицее» не помогла.
- *Но она как-то тебя изменила?*
- Нет. У меня до сих пор нет уверенности, что я могу этим заниматься. Да, есть какие-то внешние проявления, что все вроде бы идет как должно. Но внутренне я очень неуверенный в себе автор. Я могу порадоваться, прочитав анонс презентации своей книги, где напи-

сано, что «Нубрин — писатель». Но это просто картинка. Да, эффектная и красивая. Но я, ни просыпаясь утром, ни засыпая вечером, не могу сказать себе: «Сережа, ты писатель». Никаной ты не писатель, говорю я себе. Потому что никаких писателей не существует.

— *Раз писателей не существует, что значит быть писателем в твоём понимании?*

— Я не знаю, что такое быть писателем. Можно, наверное, сказать, что человек, который пишет тексты, тоже писатель. Но скорее все же не писатель, а автор текста. Писатель — это, пожалуй, тот, кто проживает жизнь через текст. Воспринимает жизнь через текст.

— *Твой случай?*

— Да, я тот человек, который должен почувствовать и записать все, что он видит. Но при этом себя писателем я не ощущаю. Значит, писатель — нечто иное. А что — я не знаю.

Если я когда-то это узнаю и это знание совпадет с внутренним восприятием, вот тогда, наверное, я и пойму, кто такой писатель, и смогу себя назвать таковым.

— *И тем не менее... Ты уже не играешь в пятом литературном дивизионе. «Редакция Елены Шубиной» — это высшая лига. Что изменилось, когда ты взял в руки изданную книгу?*

— Я начал очень сильно паниковать — купят книгу или нет. Вот и все. Все вертится вокруг неоправданных ожиданий. Я думаю: «Оправдаю ли я ожидания “Редакции Елены Шубиной”, которая поверила в молодого автора?» Все, что я делаю в жизни, строится на основе компромиссов и поиска взаимовыгодных решений. Я не хочу быть никому должен. Хочу оправдать доверие. И сейчас меня больше всего волнует, оправдал ли я доверие издателя и читателей, которые купят книгу.

— *Синдром отличника в чистом виде.*

— Возможно, ты прав. Я отличник по жизни — в школе и институте, на работе.

— *Тебе сложно жить в такой системе координат? Ты все время должен кому-то что-то доказывать?*

— Да, очень сложно. Последние несколько лет я борюсь с этим синдромом. Целенаправленно не выполняю какие-то служебные обязанности.

— *То есть саботируешь?*

— Да. Потому что знаю — нужно с этим чувством бороться. Синдром отличника ни к чему хорошему не приводит. Ты сам себя загоняешь в рамки и рано или поздно сойдешь с ума. В школе меня хвалили учителя. В семье — родители. В институте я учился на отлично. А на работе тебя уже не хвалят. Наоборот, зачастую предъявляют претензии, что у тебя все получается. И тебе вроде бы все равно. Ты, казалось бы, уже не зависишь от мнения окружающих. Но сейчас я понимаю, что, говоря такие слова, я обманываю всех.

— *Ну так скажи правду.*

— Правда вот в чем: я хочу, чтобы все думали, что я саботирую, а на самом деле хочу остаться отличником. Я хочу всех обмануть. Быть раздолбаем, оставаясь отличником. Вот это будет истинная победа. Потому что если ты будешь просто раздолбаем, то ничего не достигнешь. Будешь всегда отличником — саморазрушишься. А вот если ты всех обманешь, тогда по-настоящему победишь.

— *Как относятся к твоим литературным успехам на работе?*

- Я очень надеялся, что я не буду об этом говорить. Ведь с этим есть проблемы. В последнее время высшее руководство предъявляет мне претензии, что я занимаюсь не тем, чем надо, что я пиарюсь в соцсетях, а не расследую уголовные дела.
- *Что ты занялся работой на личный бренд?*
- Ага. Я пытаюсь объяснить, что каждый занимается своим делом: кто-то вечерами пьет водку, кто-то берет взятки и сидит в следственных изоляторах, а я занимаюсь достойным делом русского офицера. Я пытаюсь все это объяснить, но меня не слышат и заставляют выбрать что-то одно.
- *То есть «завяжи с писательством, будь следователем»?*
- Да-да! Потому что быть следователем и писать книжки — неправильно. Меня упрекают. При этом у меня отличные служебные показатели. Но, наверное, люди из главнов считают, что я могу больше.
- *Как в полиции определяются отличные показатели?*
- Количество направленных в суд законченных уголовных дел. Если ты следователь, важно, сколько дел ты направил в месяц в суд, состоялись ли по ним обвинительные приговоры.
- *Как все происходит? Давай абстрагируемся от «Улиц разбитых фонарей», чтобы увидеть реальную картину работы следователя.*
- У меня в производстве, снажем, пятнадцать уголовных дел. По каждому есть раскрытые преступления — дела, по которым уже преступники установлены, например, сотрудниками уголовного розыска. Моя задача — доказать вину тех, кого обвинили. Оперативник приходит к тебе и говорит: «Сергей, мы установили лицо, ответственное за вчерашний разбой». Проведя комплекс следственных мероприятий, я должен либо доказать вину человека, либо опровергнуть его причастность к совершению преступления. Этим я и занимаюсь — принятием законных и обоснованных решений. Есть еще не раскрытые дела, и я должен принять решение, какие следственные действия провести, чтобы установить виновных. Все в итоге упирается в количество: чем больше уголовных дел ты завершил, чем больше лиц привлечен к ответственности, тем лучше ты работаешь. Я работаю неплохо. Но «наверху», видимо, думают, что я могу работать лучше. Но я не могу работать лучше. Более того, если я завяжу с литературой, ничего хорошего из этого не выйдет.
- *Почему?*
- Моя повседневная жизнь — это служба. А повседневность зависит от того, получается ли у меня что-то в литературе. Смог ли я сегодня написать кусок текста, который заставит жить завтра. Это первооснова, фундамент. Очень серьезный базис: если у меня что-то получается в литературе, значит, я крепко стою на ногах. А если я не смог написать ничего стоящего, все остальное кажется вторичным и ненужным.
- *То есть литературное творчество — это то, что тебя мотивирует жить?*
- Выходит, что так. Причем это касается не только службы, но и мирских задач: сходить в магазин, на свидание. Не знаю, почему так, но это так.
- *Не думаешь ли ты, что упреки — следствие зависти коллег? Зависти к тому, что за пределами службы у тебя есть очень-значимое-занятие, которое к тому же привлекает общественное внимание. И ты становишься как бы больше, чем просто полицейский, больше, чем просто следователь. В глазах коллег ты как бы стоишь выше, чем они.*

- Я бы мог так подумать, если бы коллеги, назовем их так, если бы мои руководители понимали, что такое литература. А они, мне кажется, книжек-то особо не читали. Но главное — до сих пор не понимают, что у меня здесь все по-настоящему. Наверное, в их понимании это какая-то блажь, баловство, мешающее службе. Но ведь это не так. Впрочем, я уже не пытаюсь им это объяснить. Одно время я молчал. Потом не молчал. Причем поначалу руководству мои литературные успехи были даже интересны. Меня отпустили на мероприятия. Согласовывали мои выступления в местных СМИ.
- *Ты был таким интеллектуальным представителем правоохранительных органов, да?*
- Нечто такое, да. Но теперь все иначе. Пошла другая волна. Я чувствую, что в МВД не хотят, чтобы я где-то светился. Хотя я искренне уважаю службу и не скажу о ней ничего плохого. И не только потому, что я ограничен профессиональными обязательствами, а потому, что действительно верю, что большинство правоохранителей занимаются нужным и важным делом. В общем, пока я так и не разобрался — зависть это с их стороны или просто попытка меня уколоть.
- *Но ты болезненно реагируешь на эти уколы?*
- Нет, мне это даже нравится. О'ней, будем откровенны: в глубине души я осознаю, что мне завидуют. Ты опять вытащил из меня правду. Ну конечно, мне все завидуют. Так я и скажу. Хватит пытаться угодить и нашим, и вашим. Нам у нас говорят в Пензе, «и мордвам, и чувашам». На самом деле правда одна: уважаемые руководители, вы просто мне завидуете. Оставьте меня, пожалуйста, в покое, дайте мне расследовать дела и заниматься литературой.
- *Если в какой-то момент возникнет выбор – литература или полицейская служба, – что ты выберешь?*
- Я всегда знал, что пойду в литературу. Это изначально было определено, и с течением времени я утверждаюсь в таком понимании. Рано или поздно служба закончится. Я даже точно знаю когда: через девять лет, когда я уйду на ведомственную пенсию. В литературе сроков выслуги нет. Она бессрочна.
- *А где ты видишь себя через девять лет?*
- Надеюсь увидеть себя раньше этого срока в смежной полицейской службе профессии. Хочу заниматься адвокатской деятельностью. Пойми, задача следователя — не только наказать человека, но и установить истину по уголовному делу. Я уже сказал, что ищу справедливость. Задача адвоката — установить истину по делу. Адвокат собирает доказательства. И следователь тоже. Человек может быть виновным или невиновным. По сути, эти двое ничем не отличаются. Только в фильмах есть добро и зло. В жизни следователь иногда уступает тем же адвокатам, когда собирает доказательства и убеждается, что человек невиновен. И принимает решение о прекращении уголовного преследования. Адвокат, даже если человек виновен, не может отказаться от защиты. Я все-таки себя ощущаю защитником изначально. Поэтому хочу стать адвокатом.
- *Тут возникает нравственный аспект. Когда ты знаешь, что человек виновен, но, будучи адвокатом, ты должен доказать, что он невиновен, – не возникнет противоречия?*
- Может, и возникнет. Но надо понимать, что адвокат в первую очередь реализует право гражданина на защиту. Иногда случаются неверные

интерпретации со стороны правоохранителей. Но есть законы, поддерживающие систему. Адвокат указывает на них. И даже если не спасает человека, то уменьшает срок наказания или добивается иных смягчающих обстоятельств. Я считаю, что это очень интересная, а главное, добрая профессия — адвокат, защитник. Ну и плюс ко всему неплохо оплачиваемая. Но важнее все же, что она связана с нравственностью. Это то, что важно для писателя.

- *В твоей работе возникают привязанности? Когда видишь человека, который пошел не по тому пути, видишь, что обвиненный совершил ошибку, и хочешь помочь. Не возникает желания стать участником судьбы человека и попробовать его поставить на другие рельсы, вывести из «серой» зоны, сделать так, чтобы он жил по закону?*
- Если передо мной молодая парнишка — чаще ребята привлекаются, чем девушки, — то, конечно, да. Многие ведь действительно встают на путь исправления. Ребята видят, что следователь — это не злодей в погонах. А такой же человек, который ошибается. И признает ошибку. Иногда достаточно просто поговорить с человеком, чтобы он поверил, что жизнь не серая. Что у нее множество оттенков. Что путь преступления — это не единственный путь. Искренне надеюсь, что ребята, которые проходили через мои руки, впредь не будут нарушать закон. Да, есть те, кто хочет в тюрьму. Есть те, кто случайно попадает в жернова закона, но закон должен исполняться, и ты его представитель. Но в сухом остатке — осознание, что ты должен снять маску нарающего служителя закона и остаться человеком.
- *При этом ты жесткий человек? Можешь быть жестким, если того требуют обстоятельства?*
- Я могу быть жестким, но после каждого проявления жесткости я восстанавливаюсь очень долго. Мне проще, чтобы все шло тихо, мирно и спокойно.
- *Мяжкого Кубрина мы хорошо себе представляем — это человек, который пытается решить сложные вопросы дипломатическим путем. А как проявляет себя жесткий Кубрин?*
- Минимум разговоров. Разговоры по существу. Очень прямолинейная тактика допроса. Самые суровые меры, которыми ты обладаешь как следователь. Например, заключение под стражу, когда можно обойтись подпиской о невыезде.
- *Когда ты подписываешь срок, ты чувствуешь ответственность за то, что ты сделал, что это твое решение и ничье больше?*
- Да.
- *И как ты с этим живешь?*
- Очень долго восстанавливалась. Но иногда другого пути просто нет. Иногда ты просто обязан принимать жесткие меры. Иногда нужно проявлять жесткость (но не жестокость!). Иначе бы мир рухнул. Есть те, кто всегда идет по пути самых суровых мер наказания. Но это тоже крайность. Нужен баланс.
- *Можешь вспомнить самое жесткое решение, которое ты принял на службе?*
- Мне кажется, оно касается только меня. Оно в том, что все эти годы я работал без сна и отдыха. Это жесткость по отношению к самому себе.
- *Без сна и отдыха — в буквальном смысле? Как выглядят твой среднестатистический день, твоя неделя? Сколько ты спишь, когда ты встаешь, когда ложишься? Когда не спишь, когда ты не ложишься?*

- В восемь утра я должен быть на работе. Уходишь с работы, как правило, поздно вечером. График ненормированный. Есть еще суточные дежурства — сутки на работе, после которых следует отсыпной день. Но поскольку на тебя валится лавина уголовных дел и по каждому делу есть процессуальные сроки, которые ты не можешь нарушать, ты обязан оставаться и продолжать работу. Фактически выходных нет неделями. Ты всегда на работе. Всегда на службе. Это совсем неправильно. Это нехорошо.
- *Что тебя удерживает в этом графике? Что мешает сказать: «Мне это надоело, я ухожу!»?*
- Я говорю это себе каждый день, как и большинство моих коллег. Но почему-то лишь единицы действительно нуда-то уходят.
- *Почему не уходишь ты? Это решение уже созрело в тебе?*
- Я бы сказал, что должен нести это бремя, защищать доброе имя следователя.
- *Это хорошая декорация. А если «по чесноку»?*
- Ну хорошо. Я достиг определенных профессиональных высот, которые позволяют мне работать не то чтобы не напрягаясь, но осмысленно и уверенно. Это первое. Второе (важнее): я боюсь перемен.
- *Боишься столкнуться с неизвестностью? Боишься, что не будет зарплаты и стабильности? Или чего-то еще?*
- Да, я живу в стабильном мире. Каждый месяц в строго определенный день приходит денежное довольствие. Я знаю, сколько я получаю и как на эти деньги жить. Я знаю, что, возможно, к Новому году мне дадут премию, а может быть, оплатят переработку в ненормированные рабочие дни. Если я уйду, такой уверенности у меня уже не будет. Возможно, я выиграю, возможно, я проиграю. Я человек системы. Но иногда выпадаю из нее и как бы начинаю видеть мир вокруг. Идя на работу в выходной день, я вижу счастливых людей, которые не работают. Я вижу улыбки. Иногда вижу слезы. Все мы плачем время от времени. Но я вижу живых людей. И в такие минуты понимаю, что я тоже могу выйти из системы. И верю, что наверняка справлюсь. Ведь, что уж лунавить, я не совсем глупый человек и, конечно, не пропаду. Я работаю с этим. С каждым днем я все ближе к тому, чтобы сделать решительный шаг. Было бы круто сказать, что я остаюсь в системе, потому что должен служить государству и служить людям. Но это была бы очередная ложь. Ты заставляешь меня говорить правдивые вещи.
- *Давай копнем глубже: работа следователем — это стопроцентная определенность. Понимание, что ты получишь зарплату, возможно, премию и переработки, а литература — это полная неизвестность. Ты не знаешь, получится у тебя текст или нет, более того, даже если он получится с твоей точки зрения, его, возможно, не примет аудитория. Что тогда тебя мотивирует продолжать заниматься литературой при полной неопределенности этого действия?*
- Первое: я не рассматриваю литературу как источник заработка. Да, было бы идеально зарабатывать писательством, чтобы ни в чем не нуждаться. Но я прекрасно понимаю, что вероятность такого исхода — один шанс на миллион. Я готов к тому, что я ничего не заработаю своими текстами. Готов кануть в неизвестности. Я смотрю на вещи вполне трезво. Понимаю, что большинство людей не знают, кто такой Сергей Нубрин. И это тоже своеобразная оперативная работа. Вот я вроде бы в литературном пространстве. Но меня как бы в нем

пона и нет. Я наблюдаю, присматриваюсь — как ко мне относятся, читают меня или не читают. Это же чисто ментовская тема — остаться незамеченным, но при этом быть внутри, снажем так, «бандитской группировки».

- *Так, ты сам сказал слово «ментовская». Где разница между ментом и полицейским?*
- Полицейским может стать каждый, для этого нужно пройти определенные испытания: сдать физподготовку, пройти по здоровью и убедить руководство, что ты достоин служить государству. Ментом удастся стать далеко не каждому. Если бы кто-то назвал меня ментом, это было бы истинное поощрение. Не мусором, а ментом. Мент — это звучит достойно. А полицейский... Это просто слово. У нас миллион полицейских.
- *Ты ощущаешь себя ментом?*
- Нет, точно нет. Но и полицейским тоже ведь не ощущаю. Я просто человек, который ходит каждый день в Первомайский отдел полиции города Пензы и что-то там делает. А когда это человек выходит из отдела, он просто остается собой.
- *Но ты хочешь стать ментом? Раствориться внутри системы, сформировать сеть информаторов, установить нужные связи и тому подобное?*
- Нет, не хочу. Это точно не мой путь. Я понимаю, что полицейская работа — нечто сиюминутное. Хотя и длится уже восемь лет. Может, это и немного. Но ведь уже половина служебного пути.
- *Дает ли эта работа тебе адреналин?*
- Да, действительно. Она дает энергию и одновременно чудовищное чувство усталости. И все вместе это заставляет меня писать. Когда я ничего не делаю, например, в отпуске, я вообще не пишу. Я вечно жду отпуска, чтобы написать большой кусок текста, но, когда он приходит, я не могу выдать из себя ни слова.
- *И что ты делаешь в отпуске?*
- Смотрю сериалы, пью пиво, что-то делаю. Иными словами, паразитирую. Поэтому я очень не люблю отпуска.
- *Раз мы заговорили об адреналине... Бывают в работе ситуации, когда тебе становится по-настоящему страшно? Скажем, ты едешь на разбой и понимаешь, что что-то может пойти не так.*
- Скорее нет. Я же не один езжу. Пойми, я следователь, а следователь — это такая «голубая кровь» в системе МВД. Следователь — это главный сотрудник, где бы он ни был. Это человек, дающий поручения сотрудникам уголовного розыска, руководящий следственной группой на местах происшествий. Когда ты приезжаешь, ребята из ППС уже оцепили территорию, провели осмотр. Никакой опасности уже нет. Ты просто протоколируешь случившееся. У меня есть табельное оружие, которое я никогда не применял. И вряд ли когда-то применю.
- *Ты осознанно выбрал эту безопасную зону и территорию?*
- Выбрал ее лишь потому, что следователь — единственная профессия в МВД, которая требует наличия юридического образования. Мне важно было сохранить юридический стаж — я же все еще хочу стать адвокатом.
- *Как тебя принимают коллеги? Молодой следователь наверняка вызывает вопросы? Приехал зеленый Кубрин, дает распоряжение каким-то матерям оперативникам, которые первыми приезжают на места преступлений и работают на первой линии опасности.*

- Тут важно понимать, что война — дело молодых. На районном уровне у нас тут служат только молодые ребята. На их фоне я уже немолод, ведь в большинстве своем это выпускники ведомственных академий или гражданских вузов. Ребятам в среднем лет двадцать пять. А все эти старые состоявшиеся сотрудники протирают штаны в главках и управлениях. С ними в повседневной работе мы не пересекаемся.
- *И тем не менее: были в твоей работе ситуации, когда тебе становилось по-настоящему страшно? Когда ты по-настоящему испугался?*
- Да пожалуй, нет. Было бы неплохо, если бы я ответил: вот однажды я приехал на место преступления, зашел в темный подъезд, а там такое... Но правда в том, что это сюжеты из книжек и фильмов. Единственный страх, который я испытываю, — это нарушить срок следствия, за что тебя накажут.
- *Накажут как?*
- Иногда рублем, иногда неполным служебным соответствием.
- *Что такое неполное служебное соответствие?*
- Одна из высших мер наказания, когда руководство ставит под сомнение, можешь ты занимать должность или нет.
- *Может быть, тебе стоит сознательно ошибиться, чтобы тебя выгнали со службы?*
- Одна из частых мыслей, которую почти каждый сотрудник произносит про себя ежедневно: «Что же сделать такого, чтобы меня выгнали?» Сами не уйдем, но, если попросят, скажем спасибо. Может быть, и стоит ошибиться. С другой стороны... На этой неделе меня пугали неполным служебным соответствием. Я не испугался. Я разозлился. Не меня им пугать неполным служебным соответствием.
- *На порт не взяли.*
- Нет, не взяли. Я действительно очень сильно разозлился, ушел и сделал выводы. И если возвращаться к вопросу, что меня по-настоящему пугает... Я боюсь нарушить срок следствия. Боюсь, что незаконно «закрою» человека — заключу под стражу на срок следствия.
- *Такое было?*
- Такого не было, но были определенные предпосылки. Суть в том, что ты лишаешь человека свободы, потому что считаешь, что он виновен. А потом не находишь доказательств. Впрочем, в моей практике такого все же не было — чтобы невиновный сидел в тюрьме. Может быть, потому, что я работаю в провинции и не занимаюсь резонансными федеральными делами.
- *Какие дела ты в основном ведешь?*
- Кражи, грабежи, разбои, мошенничества, причинение телесных повреждений разной степени тяжести. Экономические преступления: присвоения, растраты, превышение должностных полномочий.
- *Вернемся к писательству. Как у тебя остаются силы, чтобы писать? Есть работа, которая отнимает очень много времени, и ты при этом говоришь, что тебе нужно быть в этом безумном графике, чтобы создавать тексты.*
- Это система, к которой я себя заставил привыкнуть. Есть правило: если я работаю над текстом, я пишу каждый день. Плохо или хорошо, но каждый день. Каждый день — это не значит, что я обязан написать 2000 знаков. Возможно, я напишу всего одно предложение, на которое потрачу два часа (больше двух часов я писать не могу). Так вот, система в том, что я просто пишу каждый день вне зависимости от обстоятельств. Пишу, психую, перечитываю, удаляю все. Снова пишу.

Я на самом-то деле человек очень психованный. Когда занимаюсь литературой. Да и вообще, наверное, в жизни тоже.

- *Психованный мент?*
- Психованный Кубрин. Просто конченный псих, мне кажется. Бывает так, что я складываю по листочку тома уголовных дел, чтобы подшить и направить. Но потом что-то идет не так, все листы разлетаются по кабинету. И я снова собираю листочки.
- *Без швыряния дел по кабинету никак?*
- Так я высвобождаю нанопившуюся внутри злость. С текстом так же: стоит мне понять, что у меня не получается, что написано плохо, я удаляю все безвозвратно. Мне легче уничтожить все. Лучше я напишу заново, чем буду тянуть неудавшуюся строчку. От строчки к строчке, от страницы к странице, чтобы в итоге понять, что написал дерьмо.
- *Хемингуэй называл это внутренним писательским радаром. Когда ты понимаешь — текст получается или текст не получается?*
- Я надеюсь, этот радар срабатывает сразу, а не после того, как плохой текст написан и отлежался. Я, наверное, поэтому очень медленно пишу. Моя рутина выглядит так: написал — удалил, написал — удалил, написал — удалил. Написал еще. И понял, что наконец получилось неплохо. И потом выясняется, что это действительно неплохо, потому что редактор твоей книги Алансей Портнов говорит: «Это неплохо, старик».
- *То есть в литературе ты улетка, не рысь?*
- Да, я пишу очень медленно, очень осторожно. Удачное слово рождает второе удачное слово. Удачное предложение — второе предложение. Я пишу не в потоке. Не стихийно. Не отключившись. Не впадая в транс. Пишу рационально. Недавно услышал фразу: «Когда молишься, нельзя испытывать ни чувство восторга, ни чувство сожаления». Мне кажется, написание текста — то же, что и молитва. Ты должен лишить себя эмоций, очень хладнокровно, как настоящий чекист — с холодной головой, без горячего сердца — «чистыми руками» написать текст.
- *Какая цель у текста? Зачем он появляется?*
- На все вопросы я нахожу ответы, когда что-то напишу. Недавно я написал такую фразу: «Мы пишем не для того, чтобы помнить, а для того, чтобы забыть». Я пишу, чтобы что-то забыть, пережить. Чтобы я к этому больше никогда не возвращался. Не затем, чтобы увековечить нечто в своем сознании или в сознании читателя. Я пишу, чтобы прожить и пережить, забыть. Чтобы понять, что я освободился от внешних обстоятельств (о которых пишу) через текст.
- *Писательство как психотерапия?*
- Да, видимо, так.
- *От чего ты пытаешься избавиться, когда писал «Виноватых бьют»? Что ты хотел забыть?*
- Я хотел забыть службу. Не случайно же оперативник Жарнов испытывает профессиональную деформацию и творит ужасные вещи. Не случайно все в его жизни рушится. Свои неудачи в жизни я связываю со службой. И теперь, когда я написал новый текст, мне кажется, я перешел на новый уровень. Я жду нового этапа в жизни. И верю, что он вот-вот наступит. Я попробую новое и окончательно снажу службе: «До свидания!» Написание книги «Виноватых бьют» стало моим прощальным ритуалом со службой в полиции, с прежним собой. Ведь если я продолжу службу, и писать я буду о службе. А я не хочу быть автором полицейских рассказов.

- *Путь Марининой – не твой путь?*
- Категорически нет! Я поплялся, я заренся — что я не напишу больше ни одного полицейского рассказа. За базар надо отвечать, слова нужно держать, клятву исполнять. Может случиться так, что в таком сценарии я вообще больше ничего не напишу. Но я верю, что все же напишу. Если нащупаю новое — а я нащупал новое, — смогу писать о другом. Но никаких больше бандитов, преступников и полицейских.
- *«Пиши о том, что знаешь» – так говорят многие состоявшиеся писатели. А ты сознательно уходишь от этого опыта. Почему?*
- Я не буду развиваться, если буду и дальше писать полицейские рассказы. Я буду повторяться, копать и барахтаться в луже, в которой я уже искупался.
- *Виктор Пелевин сказал, что писатель в течение жизни пишет одну и ту же книгу. Ты с ним не согласен?*
- Согласен отчасти. Но сколько примеров писателей, пишущих разные книги. Я хочу писать разные книги. Я хочу написать роман, после которого снажут: «Нубрин может не только о ментах и солдатах».
- *Почему бы не продолжить, если у тебя это хорошо получится? А что тебя так пугает быть ментом? Почему ты так этого боишься?*
- Быть ментом в литературе?
- Да.
- Я хочу понять, кто я есть. Не так уж важно, что обо мне снажут. Но если я продолжу писать о ментах, то я не смогу увидеть нечто важное, что могу увидеть. Не смогу узнать нового себя. Не буду развиваться.
- *Что в твоём понимании развитие?*
- Новые обстоятельства, которые нужно пережить. Причем желательно — обстоятельства непреодолимой силы, с которыми нужно встретиться лицом к лицу.
- *То есть получить выговор и вылететь со службы?*
- Да. Чтобы пройти новые испытания.
- *Но при этом по независящим от тебя обстоятельствам?*
- Желательно да. Важно, чтобы все прошло максимально жестко. Чтобы это было так жестко, что ты жалел бы о последствиях случившегося. Но в итоге все равно победил. Я не хочу спокойной жизни...
- *Пока я слышу, что ты не хочешь ответственности за свои решения.*
- Ну, наверное. Иначе бы я уже давно ушел со службы. Да, наверное, ты прав.
- *Ты сказал, что нащупал новую тему, которая не связана с полицейской работой. О чем ты хотел бы писать или о чем уже пишешь сейчас?*
- Сейчас я вообще ничего не пишу. Это довольно странно, потому что пишу я всегда. Я нашел тему. Хочу написать роман о чуде.
- *Что в твоём понимании чудо?*
- Чудо — это то, на что ты не можешь влиять прямо или косвенно. То, что происходит с тобой постоянно.
- *Изданная книга – это чудо? Твоя изданная книга?*
- Чудом было бы то, что ее прочтут много людей.
- *То есть тебе важно признание?*
- Да, очень важно.
- *Ты тщеславен?*
- Да! Уверен, что да. Мог бы сказать: нет, мне все равно. Неважно, что обо мне снажут, неважно, прочтут книгу или нет, — я же просто пишу

- для себя. Но это было бы все очередной ложью. Литература подразумевает, что тебя читают. Мне важно получить прижизненное признание.
- *То есть ты остаешься отличником, который пытается всем доказать, что он очень хороший писатель?*
 - Ну, наверное, так.
 - *То есть истинный драйвер твоего творчества – чтобы тебя признали?*
 - Нет! Смотри: я хочу признания. Но пишу не только для того, чтобы меня признали. Я пишу, потому что мне это важно. Есть один молодой писатель — не буду называть имя. Его многие любят, он известен. Я считаю, что он пишет ради успеха и признания. Он и сам об этом говорит: «Я успешный молодой писатель, и все, что я делаю, я делаю ради денег».
 - *А ты?*
 - А в основе моего творчества нет изначальной мотивации заработать.
 - *Но ведь монетизация творчества – синоним успеха. Деньги – одно из мерил этого признания. О'кей, бог с ними, с деньгами. Победа в «Ясной Поляне» или «Большой книге» (опустим денежные составляющие премии) – это признание?*
 - Да, это признание.
 - *Ты пишешь, чтобы победить в премиях?*
 - Скорее нет. Я не пишу для премии. Я выходил в пять финалов «Лицея». Но я писал не для премии. Я отправлял что-то на премию потому, что мне всегда было что отправить.
 - *С какой мотивацией ты отправлял текст на премию? Зачем?*
 - Из спортивного интереса.
 - *Доказать всем, что ты крутой?*
 - Да. Посоревноваться. Мне важно быть первым, победить.
 - *То есть литература – это соревнование?*
 - Да, я думаю, что литература — это спорт.
 - *А выступление на Красной площади – это признак победы в этом соревновании? Может быть, промежуточный, но все же. На встречу с писателем Кубриним придут люди, которые потратят время на то, чтобы послушать, что ты им будешь рассказывать.*
 - А если не придут?
 - *А если они не придут, ты, наверное, сильно обломился.*
 - Да. Это вообще будет крах.
 - *Что ты испытываешь, когда придешь на встречу с читателями и увидишь пустые стулья?*
 - Я к этому готовился. Тан, снажем, прорабатывал эту возможность. Если так случится, я приму это как должное. Но только потому, что к этому готовился. Повторюсь, я не ношу розовых очков и вполне понимаю, что как писатель могу быть никому не интересен.
 - *Если никто не придет, ты прекратишь писать?*
 - Точно нет.
 - *И что же заставляет тебя продолжать? Значит, не признание, а что-то еще...*
 - Видимо, все же не признание. Меня будоражит потребность придать жизни словесную форму. Пока я не написал, я не понял, не пережил. Ну а дальше: если текст уже написан и книга издана, важно, чтобы ее прочли. И дали обратную связь.
 - *Ты читаешь отзывы на свои тексты и рецензии, которые пишут критики?*
 - Попав в длинный список «Нацбеста», я сначала читал рецензии, а потом перестал. Видел, что пишут, и переживал. Расстраивался. А потом меня

закручивала рутинная жизнь, и я забывал о негативе. Не могу долго переживать. Но очень расстраиваюсь, когда меня ругают.

- Ну так ты сам сказал – когда тебя ругают, ты пытаешься доказать, что ты лучший. Сказал, что критика тебе помогает.
- Да, не вижу в том, что я говорю, противоречия. Я расстраиваюсь. И стараюсь сделать вопреки. Написать такой текст, который станут хвалить.
- Если бы тебя все только хвалили, ты бы продолжил писать?
- Да. Но стал бы сомневаться и попытаться бы понять, в чем подвох. В моем понимании путь успеха — это не путь поощрения, а путь, когда тебя бьют, потому что ты в любом случае (вне зависимости от обстоятельств) виноват.
- Но в какой-то период жизни все-таки наступит этап, когда ты поймешь: все, у меня все получилось, я всем все доказал? Или ты всю жизнь будешь искать очередное доказательство, что ты не самозванец в литературе?
- Пойму, если напишу настоящий роман. Большой роман, который понравится мне. И тем, кто его прочтет.
- Что значит «настоящий роман»? А что значит «ненастоящий роман»?
- Ненастоящий роман — текст, лишенный фундаментальной основы. Выстроенный по лекалу и написанный, так сказать, по какой-то схеме, по плану. Текст, сделанный на основе повестки. Текст, сделанный по правилам, которые предъявляют к тексту. А настоящий роман — это текст, который строится назло и вопреки. И стоит на незыблемых основах. На православии, например, на самодержавии, народности. На том, что никак не связано с актуальной повесткой. Настоящий текст — это текст, который несет в себе очень масштабную идею.
- Но ведь «большие» тексты часто проходят незамеченными. Часто это текст, опережающий время, и его не понимают читатели, которым ты его даешь. Ты можешь написать большой текст и получить непонимание, и стать писателем, который издал большой роман тиражом 2000 экземпляров. Это тебя не пугает?
- Нет, потому что написанный текст все равно будет настоящим романом.
- Ты сам поймешь, что текст настоящий, или кто-то тебе об этом скажет?
- Я сам пойму. Если говорить о «Виноватых бьют», то я считаю, что это неплохая в целом книга. Поэтому если никто не придет на мое выступление на Красной площади, в моем мировосприятии ничего не изменится. Изменится факт признания, о котором я мечтаю. Но при этом я сам знаю, что написал хороший текст. То есть может быть так, что я не получу признания. Но один хороший текст (точнее, совокупность текстов — книга) уже есть.
- И все же что-то в этом уравнении не складывается. Из твоих слов выходит, что надо просто писать и не ждать, чтобы читатели приходили на встречи с тобой. Ты пишешь хорошие тексты и знаешь, что они хороши. Вот и все.
- А что, если ответ в том, что истинно настоящее в любом случае найдет отклик у читателей? А если текст плохой, он обречен на провал. Энергия плохого текста не даст ему толком выйти к читателю.
- Много плохих текстов дошли до читателей. Много хороших не дошли. Или дошли — были поняты спустя пару сотен лет. Ты готов смириться с тем, что твой текст признают гениальным, когда тебя уже не будет, лет через двести?
- Не, не готов.
- То есть тебе важно прижизненное признание?

- Да, ждать, если честно, я не готов. Да, я могу предвидеть исход, что мои тексты канут в небытие. Но при этом я понимаю, что со мной происходят чудеса, и верю в чудеса. Будем честны: нига у Шубиной — это чудо. Но при этом я понимаю, что я обычный человек. И, скорее всего, не стану популярным писателем, настоящим — в общепринятом понимании.
- *Что значит «настоящим писателем»? Ты хочешь быть кем? Ты хочешь стать Алексеем Ивановым, которого очень активно экранизируют и о котором говорят «тиражный писатель»? Или Водолазкин? На кого ты ориентируешься, если говорить о современной литературе? Кем ты хочешь быть?*
- Нинем.
- *Только собой?*
- Только собой. Мне нравятся разные авторы. Мой любимый писатель — Захар Прилепин. Но это не значит, что я хочу писать как Прилепин или жить как Прилепин. Хотя он, по-моему, живет очень правильно, достойно. Но я хочу свой путь пройти и остаться собой. Стать писателем Нубриным.
- *Ты говоришь, что ты пока не понял, кто ты, и при этом ты говоришь, что хочешь остаться собой. Тогда возникает вопрос: кто же такой писатель Кубрин? Быть может, это человек, сомневающийся в себе, жаждущий признания, которому неважно, придут ли на его встречи читатели. И при этом если никто не придет, надо будет как-то это пережить.*
- Пожалуй. Человек сомневающийся, жаждущий признания, который расстроится, если не случится признания. Но который — если признание не придет — не прекратит писать.
- *Но может что-то такое произойти в твоей жизни, после чего ты бросишь писать? Где та грань отчаяния, переступив которую ты скажешь: «Я никогда больше не буду этим заниматься»? Ты представляешь себя вне литературы?*
- Нет, я не могу себе такого представить. Скорее всего, если это и случится, это произойдет по независящим от меня обстоятельствам. Например, что-то случится с моим мозгом, и я просто физически не смогу больше ничего написать. Писательство нельзя выключить в себе нинаним тумблером.
- *Но при этом писательство — это профессия, ты согласен? Многие начинающие авторы говорят, что нужно дождаться великого вдохновения, поймать которое ты напишешь гениальный текст. А ребята из профессиональной лиги говорят, что просто сидишь каждый день перед печатной машинкой и истекаешь кровью.*
- Я ко вторым себя отношу. Я за профессиональный системный подход. Именно поэтому я пишу каждый день вопреки настроению.
- *Ну тогда выходит, что какой-никакой успех все же неизбежен. Количество перейдет в качество.*
- А вдруг я каждый день буду писать одно и то же? Придет время, я сяду за компьютер и опять напишу рассказ о Жаркове. Но назову его Симановым. «Участников Симанов и его похождения». Я не хочу писать одно и то же. Я считаю, что это уже не писательство, это позерство.
- *Если ты напишешь еще об одном Жаркове, значит, судя по твоим словам, ты не забыл то, что ты хочешь забыть. И это будет этап, который нужно пройти, чтобы закрыть одну дверь и открыть другую. Может быть, ты еще не закрыл эту дверь?*
- А что, если у меня нет ответа на этот вопрос? Не зря же я говорю, что нинаних писателей не существует. Есть следовательно, есть журналист,

есть продавец в «Пятерочке», есть строитель или монтажник. Любой из перечисленных может работать с текстом вне работы. А писатель — кто это? Что он делает в своей жизни?

— *Давай попробуем разобраться. Кто такой писатель? Например, тот, кто издается в издательствах и получает деньги за то, что пишет, большие или небольшие — неважно. Если следовать этому определению, ты уже писатель. Ты издаешься в издательстве, и тебе платят. Но ты говоришь, что ты еще не писатель, потому что не написал великий роман. Кстати, а сколько великих романов ты хочешь написать: один или больше?*

— Больше. Не один. *(Смеется.)* Я не хочу быть автором одной или двух книг. Я хочу раз в пять лет, может быть чаще, что-то издавать.

— *У тебя есть к этому все предпосылки.*

— Наверное. Но внутри пусто. Мне надо что-то пережить. Я сейчас ничего масштабного не переживаю.

— *То есть нужно какое-то мощное потрясение?*

— Нужно потрясение, новое испытание. Тогда я что-то напишу.

— *Ты уже видишь территорию этих потрясений?*

— Да.

— *И где они случаются?*

— Я хочу испытать опыт монастырской жизни, не уходя в крайности...

— *Постриг принимать не собираешься?*

— Нет. Я просто хочу побыть трудником в монастыре. Разобраться, что такое Бог, кто мы такие и есть ли вообще во всей этой истории место чуду и спасению.

— *То есть ты хочешь пойти в монастырь, провести там какое-то время и посмотреть, что из этого получится?*

— Успокоиться и посмотреть, да. Я начал читать Ветхий Завет, Евангелие. Дело в том, что в день рождения — в этом году мне исполнилось 30 лет — случилось одно событие. Я — как больной и психованный человек — придал этому событию метафизическое значение. У меня с крестика — я до сих пор его таким ношу — сошел Иисус. Иисус отвалился. Остался просто крест. Это странно, согласись: Иисус сошел с креста. Его распяли на кресте, а он сошел. Так вот «сошел с креста». Я подивился этой истории и иногда о ней вспоминал. В Пасху я пошел во время дежурства в магазин. Но мне подошел нищий и попросил мелочь. Я полез в отделение для мелочи, где среди монет хранил и сошедшего с креста Иисуса. Дал деньги нищему. А Иисуса в бумажнике не нашел. В тот же день я написал: «Крест голый на груди, крест по жизни. Иди, Сережа, и ищи его, может быть, найдешь».

И вот я решил, что должен найти Христа, который сошел с моего крестина. Решил, что это мой путь. Незначительное событие случилось в день моего 30-летия. И я придал этому событию особое значение. Потом были еще знаки. И я подумал: все эти «маячки» не случайны. Так я понял, что мне нужно пережить опыт монастырской жизни. И возможно, это поможет мне написать какой-то важный текст. Необязательно роман о трудниках в монастыре. Об этом уже писали, в том числе и Бушновский, с которым у меня завтра совместное выступление. Кстати, тоже ведь удивительно. Когда узнал, что буду выступать на Красной площади с Бушновским, я вспомнил, что, когда служил в армии, читал его повесть в «Дружбе народов». Там как раз о трудниках было. Текст назывался «Праздник лишних орлов». И вот я думаю: все это тоже череда несчастностей? Судьба подвела меня к встрече с этим человеком. И вот

я думаю, что все это знаки: тебе, Сережа, пора в монастырь. Тут стоит сказать, что я не какой-то там воцерковленный человек. И, скорее всего, мне будет в монастыре тяжело. Я боюсь этого опыта.

- *Чего конкретно ты боишься?*
- Это же будет какой-то сакральный опыт, не мирской.
- *Церковь – та же армия, там все по графику и распорядку.*
- Да, кстати, ты прав. Без разницы, какой устав, монастырский, армейский или полицейский.
- *Может быть, ты стремишься в церковь, потому что тебе просто комфортно жить в системе?*
- Да, я думал об этом. И понял, что мне сейчас просто необходим распорядок дня. Нужно, чтобы было подчинение. Кстати, попасть я хочу не просто в монастырь, а в легендарную Оптиную пустынь. Туда Толстой приезжал и Достоевский.
- *Какие шаги ты для этого предпринял?*
- Начал, так сказать, понемногу погружаться в мир православия. Читаю, хожу на службы. Кстати, на прошлой неделе мы допрашивали одного батюшку, настоятеля пензенского храма. Никогда раньше батюшек не допрашивал, а тут опять знак. Я у него спросил: «А меня вообще возьмут?» Он сказал: «Если надумаешь, позвони мне, я узнаю, как это сделать». Видишь, все это череда событий, которые взаимосвязаны. Событий, которыми нельзя пренебрегать. Эти события обязательно к чему-то приведут. Я имею в виду, что они помогут мне тексты написать.
- *А может, ты и постриг примешь?*
- Нет-нет-нет! *(Смеется.)*
- *Ну а кто тебя знает? Это же невозможно заранее предвидеть.*
- Ты прав. Но не будем никого пугать. Я все-таки человек, который любит всякого рода наслаждения. А церковь — это отказ от них.
- *То есть аскеза – не твое?*
- Категорически нет! Это опыт не ради опыта, а опыт ради литературы. Кстати, когда я читал об Оптиной пустыни, я узнал, что там есть старец, к которому приходят с вопросами. Чтобы твой вопрос решился, нужно сделать в точности то, что тебе скажет этот старец. Уйти в монастырь, бросить работу, уйти из семьи — что угодно. И вот я думаю... вдруг, если я приду к нему с каким-то вопросом — хотя у меня нет таких вопросов, которые бы меня тревожили, — он мне скажет: «Тебе нужно бросить писать...» Что тогда я сделаю?
- *И что ты тогда сделаешь?*
- Нет такого вопроса, который бы меня сильно мучил, поэтому я к нему не пойду.
- *А может быть, это страх, что он тебе именно так и скажет: «Сережа, бросай эту свою литературу»?*
- Скорее всего, да, это страх именно такого исхода. *(Смеется.)* Потому что тогда я не знаю, как буду дальше жить.
- *Вернемся к поиску новой темы. Чтобы оказываться в монастыре, тебе придется бросить службу?*
- Нет, я поеду в отпуск недели на две. Изначально туда приезжают дня на три, и, если ты проявишь себя, настоятель может тебя оставить. Я боюсь, что может получиться так, что меня не оставят. Мало ли, возьму и психану.
- *Что значит «психану»? Когда ты психуешь, ты начинаешь крушить все вокруг? Во что выливается твой психоз?*

- Ну вдруг я начну матом ругаться, например.
- Ну и что?
- В монастыре нельзя ругаться матом. Меня попросят уйти. Или я с каким-то трудником не найду общего языка. Всякое может быть. Впрочем, я постараюсь жить смиренно, вопреки всему, ради того, чтобы пройти этот путь.
- *Итак, ты готов к новому опыту, но ты его боишься?*
- Боюсь, потому что он чужд для меня. Я не боюсь полицейского опыта, потому что это мое, родное.
- *То есть ты боишься всего нового?*
- С точки зрения литературы — да.
- *Почему?*
- А вдруг я не смогу, пройдя это испытание, написать что-то достойное?
- *И что тогда? Это будет потерянное время?*
- Да.
- *То есть ты во всем ищешь тему?*
- Все ради литературы, к сожалению.
- *Почему «к сожалению»?*
- Ну, потому, что можно просто жить. Ну зачем мне монастырь, по сути?
- *А что значит «просто жить»?*
- Ну не ехать в монастырь, например. У меня будет отпуск, а я его потрачу не на море, пляж и пиво, а на монастырскую еду и службу.
- *А что тебе даст море, пляж и пиво? Это опыт, который ты уже пережил.*
- Да, но это отдых. Можно просто отдыхать, чиллить, смотреть сериалы.
- *Но это бесполезное время с точки зрения литературы... Ты же сам только что сказал: все ради текста.*
- Ну вот. Опять подловил.
- *Ну хорошо. А теперь давай подведем некоторую черту. Ты думаешь о том, какой багаж ты оставишь после себя? Я понимаю, что еще рановато — на ярмарку едем, не с ярмарки, но тем не менее.*
- Литературный багаж?
- *Да. Ну вот подойдешь ты к финальной черте, помотришь на свою жизнь и скажешь: «И что же ты, Сережа, сделал в своей жизни?»*
- Повторю: я хотел бы написать несколько книг. Немного, но и немало.
- *Неприменно великих?*
- Неплохих. Не проходных. Чтобы это была не книжка ради книги. А чтобы это было событием.
- *Что значит «событие»?*
- Вот у Сальникова вышла новая книжка, «Оккульттреггер». Это событие.
- *А почему?*
- Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
- *И тем не менее. Я хочу понять: что значит «событие»? У тебя тоже только что вышла книга, и в моем понимании это тоже событие.*
- Ну нет. Это не событие. Это просто этап. У Нубрина вышла книга.
- *А чем отличается книжка Сальникова от твоей?*
- Я еще ее не читал...
- *Тогда скажи мне, в чем событийность того, что у Сальникова вышла книга или у кого-то еще вышла книга? Их вообще выходит огромное количество, ты и сам знаешь.*
- Книга Сальникова — это книга, которую наверняка ждут, которую точно прочитают и которая почти наверняка не останется незамеченной.

- Ну, «Опосредованно» – второй роман Сальникова – прошел относительно незамеченным.
- Нан и «Отдел».
- «Отдел» – первый роман Сальникова. Алексей, если хочешь, выехал на хайпе «Петровых в гриппе». Потом был не очень удачный роман «Опосредованно». Сейчас вышел «Оккульттрегер», который – мы этого не знаем – примет публика или нет. Суть в том, что я хочу понять: что значит «событие»? Почему Сальников – это событие, а ты нет? Почему ты прижимаешь свои достижения в литературе?
- Я не то чтобы их прижимаю. Для меня большее событие почему-то – выход книги Сальникова, чем выход моей собственной книги.
- Что ты испытал, когда взял в руки свою книгу?
- Мне понравилось, как буквы сделали на обложке. Они такие выпуклые.
- А было вот это ощущение, что ты очень долго хотел разродиться, наконец испытал этот оргазм и понимаешь, что ты держишь в руках книгу, которая еще недавно была текстом на экране компьютера?
- Ну да, я обрадовался. Я не скажу, что я ничего не испытал. Конечно, я обрадовался и почувствовал какой-то шанс стать великим.
- Это первый шаг.
- Да, это первый шаг.
- Как долго длилось это ощущение радости после выхода книги? Когда ты понял, что оно ушло?
- Я написал текст. Порадовался. Потом радость ушла. Я понял, что мне больше не о чем писать. Потом вышла книга. Радость ненадолго вернулась. А сейчас опять никакого восторга нет.
- Ну смотри, после секса нам, мужчинам, всегда какое-то время не хочется. Может быть, литература – это тот же самый секс? Сначала хочется. После секса – не хочется. Потом опять хочется. Проходит какое-то время, мы накапливаем в себе это желание – и возникает новая потребность. Может быть, литература так же работает? Ты испытываешь сильную эмоцию в тот момент, когда у тебя происходит эта разрядка, а потом пустота. Может быть, ты просто сейчас в этом этапе перезагрузки?
- Ну наверное, да, классно. Хорошее сравнение.
- А как ты, кстати, относишься к сексу?
- Замечательно. Литература не лучше сенса.
- А вот, кстати, хороший вопрос: что лучше – секс или литература?
- Ну конечно сенс!
- А если бы тебе предложили выбрать? Если бы тебе сказали: никогда в жизни не заниматься сексом или писать книги, что бы ты выбрал?
- Сенс, наверное.
- А если бы тебе сказали, что ты будешь великим писателем, если ты уйдешь в аскезу и у тебя никогда не будет плотской жизни, что бы ты выбрал?
- Господи. Я бы хотел в ту же минуту умереть. Чтобы не делать выбор.

